



Проза

Мери́ме

Кармен

Проспер Мериме
Кармен (новеллы)

«Public Domain»

Мериме П.

Кармен (новеллы) / П. Мериме — «Public Domain»,

Яркие романтические образы, психологические зарисовки отношений и нравов, захватывающий сюжет – в новеллах классика французской литературы XIX века, историка и драматурга Проспера Мериме. Цыганка Кармен приобрела мировую известность благодаря опере Ж. Бизе и стала героиней многочисленных театральных постановок и экранизаций.

Содержание

Этрусская ваза	5
Партия в триктрак	18
Двойная ошибка	27
Глава 1	27
Глава 2	29
Глава 3	32
Глава 4	35
Глава 5	37
Глава 6	40
Глава 7	42
Глава 8	44
Глава 9	48
Глава 10	53
Глава 11	54
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Проспер Мериме Кармен (новеллы)

Этрусская ваза

Огюста Сен-Клера не любили в так называемом «большом свете»; главная причина заключалась в том, что он старался нравиться только тем, кто приходился ему по сердцу. Он шел навстречу одним и тщательно избегал других. К тому же он был беспечен и рассеян. Однажды вечером при выходе из итальянской оперы маркиза А. обратилась к нему с вопросом: «Как пела Зонтаг?» – «Да, маркиза», – отвечал Сен-Клер, приятно улыбнувшись, но думая о другом. Такой странный ответ ни в каком случае нельзя было приписать робости с его стороны; и с знатным вельможей, и со знаменитостью, и даже с самой модной красавицей он обращался так же свободно, как если бы говорил с равным себе. Маркиза объявила, что Сен-Клер заносчив и дерзок до невероятия.

Однажды в понедельник г-жа Б. пригласила его на обед; она долго с ним разговаривала, и, уходя, он сказал, что никогда еще не встречал более очаровательной женщины. Г-жа Б. набиралась ума в течение месяца, с тем чтобы потом израсходовать этот ум у себя дома в один вечер. Сен-Клер встретился с ней в четверг на той же неделе. На этот раз она показалась ему скучноватой. Результат следующего за тем посещения был тот, что Сен-Клер решил не появляться больше в ее гостиной. Г-жа Б. поспешила объявить всем и каждому, что Сен-Клер – человек совершенно невоспитанный и притом самого дурного тона.

Он родился с сердцем нежным и любящим: но в молодости, когда так еще легко воспринимаются впечатления – впечатления, отражающиеся потом на всей жизни, – его слишком пылкая натура навлекла на него насмешки товарищей. Он был горд и самолюбив. Он, как ребенок, дорожил чужим мнением. Он призвал все свои силы, стараясь научиться скрывать все то, что, по его тогдашним понятиям, считалось унижительной слабостью. Цель была достигнута; но такая победа над собой обошлась ему дорого. Перед людьми ему действительно удавалось скрывать ощущения нежной души своей; однако ж терзался он ими тем сильнее, чем больше замыкался в самом себе. В свете приобрел он вскоре печальную известность человека равнодушного и неотзывчивого; когда он оставался наедине с самим собою, его встревоженному воображению представлялись страдания, тем более жгучие, что он ни с кем никогда не хотел делить их.

Сказать по правде, найти друга нелегко! Нелегко? Вернее сказать, невозможно. Существовали ли когда-нибудь два человека, не имевшие тайны один от другого? Сен-Клер не верил в дружбу, и это замечено было всеми. Он был холоден и сдержан в обществе с молодыми людьми. Он никогда ни о чем не расспрашивал; все его мысли и большая часть его действий оставались для них загадкой. Французы вообще любят говорить о себе; Сен-Клеру приходилось иногда против воли выслушивать задушевную исповедь знакомых. Его друзья – под этим названием надо разуметь тех, кого мы видим раза два в неделю, – законно жаловались на его недоверчивость; и в самом деле, тот, кто без повода с нашей стороны разоблачает перед нами свои тайны, обижается обыкновенно, если мы не платим ему тою же монетой. Взаимность в разоблачении сердечных тайн считается как бы общим правилом.

– Он всегда застегнут на все пуговицы, – говорил о нем красивый эскадронный командир Альфонс де Темйн. – К этому проклятому Сен-Клеру нельзя питать ни малейшего доверия.

– Я думаю, что он близок к иезуитам, – возразил Жюль Ламбер. – Один знакомый клятвенно уверял меня, что дважды видел, как он выходил из церкви Сен-Сюльпис. Никто не знает его настоящих мыслей. Я, по крайней мере, в его обществе чувствую себя связанным.

Разговаривающие расстались. На Итальянском бульваре Альфонс де Темин встретил Сен-Клера, шедшего с поникшей головой и смотревшего в землю. Он остановил его, взял под руку и тут же выложил перед ним свои любовные похождения с г-жой ***, муж которой был груб и ревнив.

В тот же вечер Жюль Ламбер проиграл в экарте все свои деньги. Он стал танцевать. Танцуя, он неумышленно толкнул какого-то господина, который, проиграв в тот вечер значительную сумму денег, был сильно не в духе. Последовал обмен резкими словами; результатом был вызов на дуэль. Жюль Ламбер попросил Сен-Клера быть его секундантом и в то же время занял у него денег, которых так потом и не возвратил.

Сен-Клер, несмотря на все о нем сказанное, был, однако ж, человек приятный в общении. Его недостатки вредили только ему лично. Он был услужлив, часто приветлив, и редко бывало с ним скучно. Он много путешествовал, много читал, но говорил о своих путешествиях и читанных им книгах не иначе, как когда настоятельно его к тому принуждали. Он был высок ростом, приятной наружности; черты его отличались благородством; в них отражался ум; лицо его всегда, однако ж, дышало спокойствием; в улыбке его было что-то привлекательное.

Я забыл одно важное обстоятельство. Сен-Клер отличался большой внимательностью к женщинам; он предпочитал их беседу мужской. Любил ли он? Вопрос разрешить было трудно. Во всяком случае, если такой наружно холодный человек любил кого-нибудь, предметом его страсти могла быть только – это все знали – хорошенькая графиня Матильда де Курси. Это была молодая вдова, которую посещал он с редким постоянством. Предположения основывались на следующих доводах: утонченное, почти церемонное обращение Сен-Клера с графиней; то же и с ее стороны; он старался не произносить в свете имя графини; когда же он бывал к тому вынужден, то никогда не присоединял похвалы к ее имени; дальше, до того как Сен-Клер был представлен графине, он любил музыку, она выказывала тогда столько же расположения к живописи; после знакомства вкусы обоих вдруг переменялись. И наконец, графиня в прошлом году отправилась на воды; шесть дней спустя Сен-Клер поспешил за нею последовать.

.....

Обязанность историка вынуждает меня сообщить, что в одну июльскую ночь, за несколько мгновений до восхода солнца, калитка парка отворилась и пропустила человека, который вышел на дорогу, принимая такие же точно предосторожности, как вор, опасющийся быть застигнутым. Парк и поместье принадлежали графине де Курси, человек, вышедший из калитки, был не кто другой, как Сен-Клер. Женщина, закутанная в шубку, проводила его до самой калитки; она вытянула шею и жадно следила за ним глазами, в то время как он торопливо спускался по тропинке, огибавшей стену парка. Сен-Клер остановился, осмотрелся вокруг и рукою сделал знак женщине, чтобы она скрылась. Прозрачность летней ночи позволила ему различить на прежнем месте бледное лицо женщины. Он вернулся назад, подошел к ней и нежно обнял. Ему хотелось уговорить ее вернуться домой, но столько еще оставалось сказать ей! Беседа продолжалась минут десять, затем в стороне послышался голос крестьянина, выходявшего на работу. Торопливый поцелуй, калитка быстро захлопнулась, и Сен-Клер стал быстро удаляться.

Он шел знакомой дорогой. Он то подпрыгивал от радости, ускорял шаг и ударял по кустам палкой, то внезапно останавливался или медленно продолжал путь, оглядывая небо, начинавшее алеть на востоке. Можно было принять его за сумасшедшего, вырвавшегося на свободу. Полчаса спустя он остановился у двери небольшого уединенного домика, снятого им на все лето. У него был ключ; он вошел. Он бросился на диван и здесь, уставив глаза в одну точку и блаженно улыбаясь, принялся размышлять и грезить наяву. Воображение рисовало перед ним картину самого полного счастья. «Как я счастлив! – повторял он ежеминутно. – Наконец-то

встретил я сердце, которое меня поняло!.. Да, я встретил свой идеал, приобрел в одно и то же время и друга, и обожаемую женщину... Какой характер!.. Какая пылкая душа!.. Нет, до меня она никого не любила!..» Движимый тщеславием, от которого не свободны лучшие наши побуждения, он прибавлял: «Красивее женщины нет в Париже!» И воображение рисовало ему все ее прелести. «Она меня предпочла! У ее ног было избранное общество. Гусарский полковник, красавец и храбрец, и притом совсем не фат... Молодой писатель, пишущий такие прелестные акварели, прекрасно играющий в салонных спектаклях... Наконец, тот русский ловец, побывавший на Балканах и служивший при Дибиче. А главное, Камилл Т*** с его умом, изящными манерами, великолепным шрамом на лбу... И ни на кого из них она не обратила внимания. А я!..» И он снова и снова повторял: «Как я счастлив, боже, как я счастлив!..» Он встал, отворил окно, он задыхался; минуту спустя он принялся расхаживать по комнате, затем снова бросился на диван.

Счастливый любовник почти всегда так же скучен, как любовник несчастливый. Один из моих друзей, находившийся попеременно то в том, то в другом положении, нашел способ заставлять меня выслушивать его: он угощал меня отличным завтраком, во время которого я разрешал ему говорить о своей любви сколько угодно, но после кофе я чувствовал настоятельную потребность переменить тему разговора.

Не имея возможности приглашать на завтрак всех моих читателей, я избавлю их от дальнейших любовных мечтаний Сен-Клера. К тому же нельзя постоянно витать в облаках. Сен-Клер был утомлен; он зевнул, потянулся, убедился, что на дворе совсем рассвело и что надо наконец подумать о сне.

Проснувшись и взглянув на часы, он увидел, что времени ему оставалось ровно столько, чтобы одеться и ехать в Париж на званый завтрак в кругу молодых приятелей.

.....

Откупорили еще одну бутылку шампанского, число прежде выпитых предоставляю определить читателю. Достаточно знать, что общество пришло уже в то состояние, которое на завтраках в молодой холостой компании наступает довольно быстро: все говорили одновременно, и головы крепкие начали беспокоиться за слабые.

– Желательно было бы, – произнес Альфонс де Темин, не пропуская случая поговорить об Англии, – желательно было бы ввести в Париже лондонский обычай, состоящий в том, что каждый предлагает тост в честь любимой женщины. Таким способом мы могли бы наконец узнать, о ком вздыхает наш друг Сен-Клер.

Он налил стакан вина и подлил своим соседям.

Сен-Клер, несколько смущенный, собирался ответить, но Жюль Ламбер опередил его.

– Обычай хорош, я его одобряю! – сказал он, приподнимая стакан.

– Господа! – провозгласил он. – За здоровье всех парижских модисток, исключая тридцатилетних, кривых, хромых и тому подобных.

– Уррра!.. Уррра!.. – прокричали молодые англomanы.

Сен-Клер привстал и поднял стакан.

– Господа! – сказал он. – Сердце мое не столь любвеобильно, как сердце моего друга Жюля, но оно более постоянно. Мое постоянство тем более похвально, что я уже давно нахожусь в разлуке с дамой моего сердца. Уверен заранее, что вы одобрите мой выбор, если только я не встречу между вами соперника... Господа, за здоровье Джудитты Паста! За скорое возвращение к нам этой первой трагической актрисы в Европе!..

Темин хотел посмеяться над тостом; аплодисменты остановили его. Отделавшись таким образом, Сен-Клер считал, что он вышел из положения, и успокоился.

Разговор коснулся сначала театра. Драматическая цензура послужила поводом для перехода к политике. От лорда Веллингтона перешли к английским лошадям, а после английских лошадей, по весьма естественному течению мыслей, занялись женщинами. Молодежь выше всего ценит красивых лошадей и хорошеньких любовниц.

Потом стали обсуждать, каким способом легче всего приобрести желаемое. Лошади покупаются, некоторые женщины также, но о таких не стоит и говорить. Сен-Клер, скромно признав свою неопытность в этом щекотливом деле, все же сказал, что, по его мнению, чтобы понравиться женщине, нужно прежде всего отличаться какою-нибудь оригинальной чертой, не быть похожим на других. Но существует ли общая формула оригинальности? Он думает, что нет.

– По-вашему, стало быть, у хромого или горбатого больше преимуществ, чем у человека стройного, сложенного, как все? – спросил Жюль.

– Вы несколько преувеличиваете, – возразил Сен-Клер, – тем не менее я стою на своем. Возьмем пример: будь я горбат, я не застрелился бы с горя, а пытался бы одерживать победы над прекрасным полом. Прежде всего я обратился бы только к двум типам женщин: таким, у которых особенно чувствительное сердце, или таким – а их много, – которые стремятся прослыть оригинальными, *эксцентричными*, как говорят в Англии. Первым я стал бы расписывать весь ужас моего положения, всю жестокость природы по отношению ко мне. Я постарался бы их разжалобить, сумел бы внушить им мысль, что я способен на страстную любовь. Я убил бы на дуэли соперника и отравил бы себя слабой дозой опиума. Спустя несколько месяцев мой горб перестали бы замечать, и тогда от меня самого зависело бы воспользоваться первым припадком чувствительности. Что же касается женщин, выдающих себя за оригиналок, то победа над ними была бы еще легче. Стоило бы только убедить их, будто точно и непреложно установлено, что горбун не может рассчитывать на успех у женщин, и они немедленно пожелали бы опровергнуть общее мнение.

– Каков донжуан! – вскричал Жюль Ламбер.

– Господа, давайте переломаем себе ноги, раз мы не имели счастья родиться горбатыми! – вскричал полковник Боже.

– Я совершенно разделяю мнение Сен-Клера, – подхватил Гектор Рокантен, который был не больше трех с половиной футов ростом. – Часто случается, что самые красивые, самые модные женщины отдаются таким людям, которых вы, красавцы, никогда не сочли бы опасными...

– Гектор, встаньте, пожалуйста, и позвоните, чтобы нам дали еще вина, – проговорил Темин самым естественным тоном.

Карлик встал, и, глядя на него, каждый с улыбкою припомнил басню о лисице с отрубленным хвостом.

– А я, – сказал Темин, – чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что приятная наружность, – при этом он самодовольно глянул в зеркало, висевшее против него, – и умение со вкусом одеваться были всегда теми оригинальными чертами, которые покоряют самых неприступных.

Он щелкнул по обшлагоу фрака, чтобы сбросить приставшую крошку хлеба.

– Полноте! – вскричал карлик. – С красивым лицом и платьем от Штауба приобретешь разве таких женщин, которых бросишь через неделю: они прискучат после второго свидания. Чтобы заставить себя полюбить – полюбить по-настоящему, – нужно кое-что другое... нужно...

– Угодно пример? – перебил Темин. – Убедительный пример? Все вы знали Масиньи, знали, что это была за личность: манеры – как у английского грума, в разговоре – совершенная лошадь. Но он был красив, как Адонис, и повязывал галстук не хуже Бреммеля. В сущности, это был один из скучнейших людей, каких мне приходилось видеть.

– Он чуть было не уморил меня от скуки, – подхватил полковник Боже. – Представьте, раз как-то пришлось мне проехать вместе с ним двести миль.

– А знаете ли вы, – спросил Сен-Клер, – что он был виновником смерти всем вам известного бедного Ричарда Торнтон?

– Полно, – возразил Жюль, – разве вы не знаете, что Торнтон убили разбойники недалеко от Фонди?

– Да, конечно, но, как увидите, Масиньи был по меньшей мере соучастником этого убийства. Несколько путешественников, в том числе и Торнтон, опасаясь разбойников, сговорились ехать в Неаполь вместе. Масиньи решил к ним присоединиться. Как только Торнтон узнал об этом, он из страха, вероятно, пробыть несколько дней в его обществе пустился в путь, не дожидаясь остальных. Он поехал один, а чем дело кончилось, вы знаете.

– Торнтон был прав, – сказал Темин, – из двух смертей он избрал самую легкую. На его месте всякий поступил бы так же. Значит, вы признаете, что Масиньи был скучнейшим человеком на свете? – прибавил он, помолчав.

– Признаем! – подхватили все в один голос.

– Будем справедливы, господа, – сказал Жюль, – сделаем исключение для ***, особенно когда он излагает свои политические планы.

– Признаете ли вы также, – продолжал Темин, – что госпожа де Курси женщина на редкость умная?

Наступило минутное молчание. Сен-Клер опустил голову; ему представилось, что глаза всех присутствующих устремлены на него.

– Кто же в этом сомневается? – произнес он наконец, продолжая смотреть в тарелку с таким видом, как будто его занимали нарисованные на ней цветы.

– Я утверждаю, – сказал Жюль, возвышая голос, – что она – одна из трех самых прелестных женщин Парижа.

– Я знал ее мужа, – сказал полковник, – он часто показывал мне женины письма: они были очаровательны.

– Огюст, – перебил Гектор Рокантен, обращаясь к Сен-Клеру, – представьте же меня графине! Вы, говорят, пользуетесь большим влиянием в ее салоне.

– В конце осени, – пробормотал Сен-Клер, – когда она вернется в Париж... Мне... мне кажется, что она никого не принимает в деревне.

– Дайте же мне наконец договорить! – вскричал Темин.

Снова наступило молчание. Сен-Клер сидел на своем стуле, как подсудимый в зале суда.

– Вы не видели графиню три года тому назад, Сен-Клер (вы были тогда в Германии), – продолжал Альфонс де Темин с убийственным хладнокровием, – и, следовательно, вообразить себе не можете, какова была в то время графиня. Прелесть! Свежа, как роза, а главное – жива и весела, как бабочка. И знаете ли, кто из бесчисленных ее поклонников более других удостоился ее расположения? Масиньи! Глупейший и пустейший из людей вскружил голову умнейшей из женщин. Скажете ли вы после этого, что с горбом можно достигнуть такого успеха? Поверьте: требуется лишь приятная наружность, хороший портной и смелость.

Сен-Клер страдал невыносимо. Он собрался уже обвинить рассказчика во лжи, но боязнь скомпрометировать графиню удержала его. Ему хотелось произнести несколько слов в ее оправдание, но язык не повиновался. Губы его дрожали от бешенства. Он тщетно искал косвенный предлог, чтобы придаться и начать ссору.

– Как! – вскричал Жюль с видом крайнего удивления. – Госпожа де Курси могла отдаться Масиньи? *Frailty, thy name is women!*¹

– Доброе имя женщины – сущий пустяк! – произнес Сен-Клер голосом резким и презрительным. – Каждому позволительно трепать его ради острого словца и...

¹ О женщины, вам имя – вероломство! (англ.)

Пока он говорил, он вспомнил с ужасом этрусскую вазу, которую много раз видел на камине в парижском салоне графини. Он знал, что это был подарок Масиньи после возвращения его из Италии, и, словно для того, чтобы усилить подозрение, ваза последовала за графиней в деревню. И каждый вечер, откалывая свою бутоньерку, графиня ставила ее в этрусскую вазу.

Слова замерли у него на губах; он видел только одно, помнил только об одном – этрусская ваза!

«Хорошее доказательство! Основывать подозрение на такой безделице!» – скажет какой-нибудь критик.

Были ли вы когда-нибудь влюблены, господин критик?

Темин находился в слишком хорошем расположении духа, чтобы обидеться на тон Сен-Клера. Он отвечал с веселым добродушием:

– Я повторяю только то, что говорилось тогда в свете. Связь эта считалась несомненной в ту пору, когда вы находились в Германии. Впрочем, я мало знаю госпожу де Курси; скоро полтора года, как я у нее не был. Может быть, все это выдумки и Масиньи мне солгал. Но вернемся к начатому разговору; если даже приведенный мною пример неверен, я все-таки высказал верную мысль. Всем вам известно, что самая умная женщина во Франции, женщина, сочинения которой...

В эту минуту дверь отворилась, и на пороге показался Теодор Невиль. Он только что вернулся из путешествия по Египту.

– Теодор? Так скоро!..

Его засыпали вопросами.

– Ты привез настоящий турецкий костюм? – спросил Темин. – Привез арабскую лошадь и египетского грума?

– Что за человек паша? – спросил Жюль. – Когда же наконец он объявит себя независимым? Видел ли ты, как с маху сносят голову одним ударом сабли?

– А *альмеи*? – спросил Рокантен. – Красивы ли каирские женщины?

– Встречались ли вы с генералом Л.? – спросил полковник Боже. – Как сформировал он армию паши? Не передавал ли вам для меня сабли полковник С.?

– Ну, а пирамиды? Нильские пороги? Статуя Мемнона? Ибрагим-паша? – и т. д.

Все говорили одновременно. Сен-Клер думал только об этрусской вазе.

Теодор сел, поджав под себя ноги (привычка, заимствованная им в Египте, от которой он не мог отучиться во Франции), выждал, пока все устанут расспрашивать, и заговорил скороговоркой, чтобы труднее было перебивать его:

– Пирамиды! Поистине это – *regular humbug*². Они совсем не так высоки, как о них думают; всего на четыре метра выше Мюнстерской башни Страсбургского собора. Древности намозолили мне глаза; не говорите мне про них: мне дурно делается при одном виде иероглифа. Столько путешественников этим занималось! Целью моей поездки было понаблюдать характер и нравы того пестрого населения, которым кишат улицы Каира и Александрии, – всех этих турок, бедуинов, коптов, феллахов, могребинцев; я сделал несколько заметок, пока был в лазарете. Какая гадость этот лазарет! Надеюсь, вы не верите в заразу. Я спокойно покурил трубку, находясь между тремястами зачумленными. Кавалерия там хороша, полковник, хороши также лошади. Покажу вам потом отличное оружие, которое я оттуда вывез. Приобрел я, между прочим, превосходный *джерид*, принадлежавший когда-то пресловутому Мурад-бею. У меня для вас, полковник, ятаган, для Огюста – *ханджар*. Вы увидите мою *мечлу*, мой *бурнус* и мой *хаик*. Знаете ли вы, что при желании я мог бы привезти с собою женщин? Ибрагим-паша прислал из Греции такое множество их, что невольницу можно купить за грош... Но из-за моей матушки... Я много говорил с пашою. Черт возьми, он умен и без предрассудков! Вы не

² Форменное надувательство (англ.).

можете себе представить, как хорошо он разбирается в наших делах. Ему известны малейшие тайны нашего кабинета, честное слово. Из беседы с ним я почерпнул много ценных сведений о различных политических партиях во Франции. В настоящее время он очень интересуется статистикой. Он выписывает все наши газеты. Знаете ли вы, что он заядлый бонапартист? Только и разговору что о Наполеоне. «Какой великий человек *Бунабардо!*» – твердил он мне. *Бунабардо* – так называют они Бонапарта.

– «Джурдина – это Журден», – прошептал де Темин.

– Сначала, – продолжал Теодор, – Мохамед-Али был со мною настороже. Вы знаете, как вообще турки недоверчивы. Он, черт его возьми, принимал меня за шпиона или иезуита. Он ненавидит иезуитов. Но вскоре он понял, что я просто путешественник без предрассудков, живо интересующийся обычаями, нравами и политическим положением Востока. Тогда он перестал стесняться и заговорил по душам. На последней аудиенции – это была уже третья – я решился чистосердечно ему заметить: «Не постигаю, – говорю, – почему твое высочество не объявит себя независимым от Порты». – «Господи! – воскликнул он. – Я бы рад, да боюсь, что либеральные газеты, управляющие всем в твоей стране, не поддержат меня, когда я провозглашу Египет независимым». Очень красивый старик, прекрасная седая борода, никогда не смеется. Он угощал меня отличным вареньем. Из всего того, однако ж, что я подарил ему, больше всего приглянулась ему коллекция рисунков Шарле, где были изображены различные мундиры имперской гвардии.

– Паша – романтик? – спросил Темин.

– Он вообще мало занимается литературой, но вы, конечно, знаете, что вся арабская литература романтична. У них, между прочим, есть поэт Малек-Айятальянефус-Эбн-Эсраф, издавший за последнее время *Раздумья*, по сравнению с которыми *Раздумья* Ламартина кажутся классической прозой. Приехав в Каир, я нанял учителя арабского языка и начал читать Коран. Уроков я взял немного, но для меня этого было достаточно, чтобы почувствовать дивные красоты в языке пророка и понять также, насколько плохи все наши переводы. Угодно видеть арабское письмо? Взгляните на это слово, начертанное здесь золотом; это значит: аллах, то есть бог.

Тут он показал нам грязное письмо, извлеченное им из надушенного шелкового кошелька.

– Сколько времени пробыл ты в Египте? – спросил Темин.

– Полтора месяца.

Путешественник продолжал описывать все до мельчайших подробностей. Почти тотчас после его прихода Сен-Клер вышел и поскакал к своему загородному дому. Бешеный галоп его коня мешал ему сосредоточиться. Он лишь смутно сознавал, что счастье его разбито и что винить в этом можно только мертвеца и этрусскую вазу.

Вернувшись домой, Сен-Клер бросился на диван, где еще накануне так долго, так сладко мечтал о своем счастье. Он с особым восторгом упивался вчера той мыслью, что его возлюбленная была не похожа на других женщин, что за всю свою жизнь она любила только его одного и что никогда она не полюбит никого другого. Теперь этот чудный сон уступил место печальной, горькой действительности. «Я обладаю красивой женщиной, и только. Она умна, но тем больше ее вина: она могла любить Масиньи!.. Теперь, правда, она любит меня, любит всю душой, как только может любить. Быть любимым так, как был любим Масиньи!.. Она просто уступила моим домогательствам, моему капризу, моей дерзкой настойчивости. Да, я обманулся. Между нашими сердцами не было настоящей склонности. Масиньи или я – это для нее безразлично. Он был красив – она любила его за красоту. Я иногда ее развлекаю. «Ну, что ж, – сказала она себе, – раз тот умер – буду любить Сен-Клера! Если Сен-Клер умрет или наскучит мне – тогда посмотрим».

Я твердо верю, что дьявол, присутствуя невидимкой, подслушивает всегда несчастного, который сам себя мучает. Такое зрелище должно забавлять врага рода человеческого. И как только жертва чувствует, что раны ее поджигают, дьявол снова спешит разбередить их.

Сен-Клеру чудился голос, напевающий ему над самым ухом:

...Большая честь —
Наследовать другому.

Он привстал и диким взором обвел комнату. Какая жалость, что он здесь один! Сен-Клер кого угодно разорвал бы сейчас в клочки.

Часы пробили восемь. Графиня ожидала его в половине девятого. «Полно, идти ли? И действительно, что за радость встречаться с возлюбленной Масиньи?» Он снова улегся на диван и закрыл глаза. «Буду спать!» – решил он. Полминуты пролежал он неподвижно, затем вскочил и побежал к часам, желая убедиться, сколько прошло времени. «Хорошо, если б было уже половина девятого! – подумал он. – Ни к чему было бы тогда идти. Было бы слишком поздно». У него не хватало силы воли, чтобы остаться дома; он искал предложения. Внезапная болезнь обрадовала бы его теперь. Он прошелся по комнате, сел, взял книгу, но не мог прочесть ни одной строчки; подошел к пианино, но не раскрыл его. Он посвистел, окинул взглядом облачное небо и начал считать тополя перед окнами. Возвратясь к часам, он увидел, что не сумел протянуть и трех минут. «Нет, я не в силах заставить себя не любить ее! – вскричал он, стиснув зубы и топнув ногой. – Она владеет мною; я раб ее, как Масиньи был ее рабом до меня! Повинуйся же, презренный, повинуйся, если у тебя не хватает духу порвать ненавистную цепь!» Он схватил шляпу и быстро вышел.

Когда страсть владеет нами, мы находим некоторое утешение для самолюбия, рассматривая нашу слабость с высоты нашей гордости. «Я уступаю, я слаб, это правда, – говорим мы себе, – но стоит мне захотеть...»

Сен-Клер медленно поднимался по дороге, ведущей к калитке парка; вдали уже мелькала перед ним фигура женщины в белом платье, выделявшемся на темной зелени деревьев; рука махала платком, будто давая знак. Сердце его сильно билось, колени дрожали; он не мог выговорить ни слова; он почувствовал вдруг необыкновенную робость – он боялся, как бы графиня не прочла на его лице, что он в дурном расположении духа.

Он взял ее руку; она бросилась к нему на шею, он поцеловал ее в лоб и проследовал за нею в комнаты молча, с трудом подавляя вздохи, теснившие ему грудь.

Одинокая свечка освещала будуар графини. Оба сели. Прическа Матильды обратила на себя внимание Сен-Клера: розан украшал ее волосы. Накануне он принес ей прекрасную английскую гравюру, изображавшую портрет герцогини Портлендской, писанный Лесли (прическа была у нее та же, что теперь у графини), и сказал: «Простой розан в волосах мне больше по сердцу, чем сложные ваши прически». Он не любил драгоценностей; он был одного мнения с тем лордом, который, не стесняясь в выражениях, говорил: «В разряженной женщине, как в лошади, покрытой попоной, сам черт не разберется». Прошлую ночью, перебирая жемчужное ожерелье графини (у него была привычка непременно держать что-нибудь в руках во время разговора), Сен-Клер сказал ей: «Драгоценности нужны только для того, чтобы скрывать недостатки. Вы и без них очень хороши, Матильда». В тот же вечер графиня, придававшая значение каждому его слову, даже случайному, сняла с себя кольца, ожерелья, серьги и браслеты. В женском туалете, по его мнению, главную роль играла обувь; на этот счет у него, как и у многих других, были свои взгляды. Перед закатом солнца шел сильный дождь; трава была еще совершенно мокрая. А графиня выбежала к нему навстречу в шелковых чулках и черных атласных туфельках... Что, если она простудится?

«Она меня любит», – сказал себе Сен-Клер и с грустью подумал о себе и о своем безумии. Он взглянул, невольно улыбнувшись, на Матильду. В душе его происходила борьба между подозрением и удовольствием видеть хорошенькую женщину, старавшуюся ему угодить всеми мелочами, которые имеют такую цену в глазах влюбленных.

Между тем сияющее лицо графини выражало любовь и веселое лукавство, делавшее его еще привлекательнее. Она достала что-то из лакированного японского ларца и, протягивая Сен-Клеру сжатый кулачок и не показывая, что в нем находится, сказала:

– На днях я разбила ваши часы. Они уже починены. Вот они. Она передала ему часы, глядя на него нежно и шаловливо, закусив нижнюю губку, чтобы не рассмеяться. Господи, как прелестны были ее зубки! Какой белизной сверкали они на пылающем пурпуре ее губ! У мужчины бывает очень глупый вид, когда он холодно принимает ласки хорошенькой женщины.

Сен-Клер поблагодарил и собирался уже спрятать часы в карман, но она остановила его:

– Подождите! Откройте часы, посмотрите, хорошо ли они починены. Вы, такой ученый, вы, бывший ученик Политехнической школы, должны знать в этом толк.

– О, я мало в этом смыслю, – сказал Сен-Клер.

Он с рассеянным видом раскрыл часы. Каково же было его удивление, когда он увидел на внутренней стороне крышки миниатюрный портрет г-жи де Курси! Можно ли было после этого хмуриться? Лицо его просветлело; мысль о Масиньи исчезла. Он помнил только о том, что находится подле прелестной женщины и что женщина эта его обожает.

.....

Послышалась песнь жаворонка, «глашатая зари»; на востоке длинные бледные лучи прорезывали облака. В такой же час Ромео прощался с Джульеттой; в этот классический час должны расставаться все влюбленные.

Держа в руке ключ от калитки, Сен-Клер стоял перед камином, внимательно глядя на этрусскую вазу, о которой мы уже говорили. В глубине души он все еще на нее сердился. Он был, однако ж, в хорошем расположении духа, и тут наконец ему пришла в голову простая мысль, что Темин мог солгать. В то время как графиня, желавшая проводить его до калитки, набрасывала на голову шаль, он стал сначала тихонько, потом все сильнее и сильнее постукивать по вазе ключом: можно было подумать, что он намерен разбить ее вдребезги.

– Боже мой! Осторожнее! – вскричала она. – Вы разобьете мою прелестную этрусскую вазу.

Она вырвала ключ у него из рук.

Сен-Клер был очень недоволен, но подчинился. Он повернулся спиной к камину, чтобы не поддаваться искушению, и, раскрыв часы, принялся рассматривать портрет графини.

– Кто писал его? – спросил он.

– Р***. Кстати, меня познакомил с ним Масиньи. После своего пребывания в Риме он вдруг открыл в себе тонкий художественный вкус и сделался меценатом всех молодых живописцев. Я нахожу, что портрет в самом деле похож; разве только художник немножко польстил мне.

Сен-Клеру хотелось хватить часы об стену (после этого вряд ли удалось бы их починить). Он сдержался, однако ж, и снова спрятал их в карман. Заметив, что совсем рассвело, он вышел из дому, умоляя графиню не провожать его, быстрым шагом прошел через парк и вскоре очутился один среди полей.

«Масиньи, Масиньи! – мысленно восклицал он со сдержанным бешенством. – Неужели ты будешь вечно попадаться мне на пути?.. Живописец этот, без сомнения, написал другой такой же портрет для Масиньи!.. Каким надо быть глупцом, чтобы допустить хоть на минуту, что меня любили, как любил я!.. И все это только потому, что в волосах у нее розан и что она

перестала носить драгоценности!.. У нее их полный ларчик... Масыньи, ценивший в женщине только туалеты, так любил драгоценности! Да, надо сознаться, у нее покладистый характер, большое умение принаравливаться к вкусам своих любовников. Черт побери, было бы в сто раз лучше, если б она была просто куртизанкой и отдавалась за деньги. Тогда я мог бы, по крайней мере, думать, что она действительно меня любит, – она моя любовница, а я ей не плачу».

Вскоре другая мысль, еще более мучительная, мелькнула у него в голове. Через некоторое время траур графини кончался. С истечением годовичного срока Сен-Клер должен был с ней обвенчаться. Он это ей обещал. Обещал? Нет. Он никогда не говорил с ней об этом, но таково было его намерение, и графиня о нем догадывалась. По его понятиям, это было равносильно клятве. Еще накануне он принес бы в жертву все, чтобы только ускорить час, когда он сможет объявить во всеуслышание о своей любви; теперь он содрогался при одной мысли связать судьбу свою с бывшей любовницей Масыньи.

«Но я *должен*, однако ж, это сделать, и так это и будет, – повторял он мысленно. – Бедняжка, она, наверное, думала, что мне известна ее прежняя связь. Говорят, что они не скрывали ее. И то сказать: она мало еще меня знает и потому не может понять... Она думает, что я люблю ее так же, как любил Масыньи. Что ж, – прибавил он не без гордости, – благодаря Матильде три месяца я был счастливейшим из людей; такое счастье стоит того, чтобы принести ему в жертву остаток жизни».

Он не ложился и все утро ездил верхом по лесу. В одной из аллей Верьерского леса он увидел всадника на отличной английской лошади; всадник еще издали назвал его по имени и подъехал к нему. То был Альфонс де Темин. Сен-Клер был в таком состоянии, когда одиночество особенно приятно; при встрече с Темином его дурное расположение духа сменилось сдержанной яростью. Темин не замечал этого, а может быть, даже находил удовольствие в том, чтобы дразнить его. Он болтал, смеялся, шутил, не обращая внимания на то, что Сен-Клер молчит. Увидев перед собою узенькую аллею, Сен-Клер тотчас же направил туда своего коня в надежде отвязаться от назойливого спутника, но он ошибся – назойливые люди не так легко расстаются со своими жертвами. Темин повернул коня, въехал в аллею и, догнав Сен-Клера, продолжал болтать как ни в чем не бывало.

Как я уже говорил, аллея была узка; две лошади едва-едва могли двигаться рядом; ничего, следовательно, нет удивительного, если Темин, при всем своем умении держаться в седле, задел ногу Сен-Клера, проезжая мимо него. Но досада уже накопилась в сердце Сен-Клера; он не в силах был ее сдерживать: привстав на стремянах, он ударил хлыстом по морде лошади Темина.

– Черт подери! Огюст! Что с вами? – воскликнул Темин. – За что вы бьете мою лошадь?

– Зачем вы за мной едете? – диким голосом закричал Сен-Клер.

– Вы с ума сошли, Сен-Клер! Вы забываете, с кем говорите!

– Отлично помню, что говорю с наглецом.

– Сен-Клер!.. Вы, должно быть, рехнулись... Завтра вы или извинитесь передо мной, или ответите мне за вашу дерзость.

– Итак, до завтра, милостивый государь!

Темин остановил лошадь; Сен-Клер проехал вперед и вскоре исчез в лесу.

С этой минуты он почувствовал себя спокойнее. У него была слабость верить в предчувствия. Ему представилось, что завтра он будет убит и что в этом простейший выход из положения, в которое он попал. Прожить еще один день – и больше никаких забот, никаких терзаний. Вернувшись домой, он послал человека с запиской к полковнику Боже, написал несколько писем, пообедал с аппетитом и ровно в половине девятого был у калитки парка.

.....

– Что с вами сегодня, Огюст? – спросила графиня. – Вы необыкновенно веселы, и тем не менее все ваши шутки не смешат меня нисколько. Вчера вы были сумрачны, а мне было так весело! Сегодня наши роли переменялись. У меня ужасно болит голова.

– Да, дорогой друг, признаюсь, я был вчера очень скучен, а сегодня я много гулял, много двигался и чувствую себя превосходно.

– А я поздно встала, долго спала утром и все время видела тяжелые сны.

– Сны? Вы верите снам?

– Какой вздор!

– А я верю, – сказал Сен-Клер. – Бьюсь об заклад, вы видели сон, предвещающий какое-нибудь трагическое событие.

– Я никогда не могу запомнить то, что вижу во сне. Впрочем, постойте, начинаю припоминать... Я видела во сне Масиньи. Можете из этого заключить, что в моих снах не было ничего интересного.

– Масиньи! Мне думается, что вы не отказались бы увидеть его снова.

– Бедный Масиньи!

– Бедный Масиньи?

– Огюст, скажите мне, прошу вас, что с вами сегодня? В вашей улыбке есть что-то демоническое. Вы как будто смеетесь сами над собою.

– Ну вот! Вы тоже начали обращаться со мной, как разные почтенные старушки, ваши приятельницы.

– Нет, кроме шуток, Огюст, у вас сегодня такое выражение лица, какое бывает, когда вы разговариваете с людьми, которых недолюбливаете.

– Какая вы нехорошая! Дайте мне вашу ручку.

Он поцеловал ей руку с иронической галантностью, и с минуту они пристально смотрели друг на друга.

Сен-Клер первый опустил глаза.

– Как трудно прожить на этом свете, не прославив злым человеком! – сказал он. – Для этого необходимо говорить только о погоде или об охоте либо обсуждать вместе с вашими приятельницами-старушками бюджет их благотворительных учреждений.

Сен-Клер взял со стола какую-то записку.

– Вот, – сказал он, – счет вашей прачки; будем беседовать об этом предмете, мой ангел, по крайней мере, вы не будете упрекать меня в том, что я злой.

– Вы меня просто удивляете, Огюст...

– Орфография этого счета напоминает мне письмо, найденное мною сегодня. Надо вам сказать, я разбирал сегодня свои бумаги; время от времени я навожу в них порядок. Так вот, я нашел любовное письмо, написанное мне швейкой, в которую я был влюблен, когда мне было шестнадцать лет. Каждое слово она писала особым образом и притом крайне усложненно. Слог вполне соответствовал орфографии. Я был в то время немного фатом и находил несомненным с моим достоинством иметь любовницу, которая не владела пером, как госпожа де Севинье. Я быстро с ней порвал. Перечитывая сегодня ее письмо, я убедился, что швейка по настоящему меня любила.

– Прекрасно! Женщина, которую вы содержали...

– Очень щедро: я давал ей пятьдесят франков в месяц. Опекун мой был прижимист; он утверждал, что молодой человек, у которого много денег, губит себя и других.

– А эта женщина? Что же с ней случилось?

– Почему я знаю?.. Вероятно, умерла в больнице.

– Если б это была правда, Огюст... вы бы не говорили об этом таким равнодушным тоном.

– Если хотите знать, она вышла замуж за «порядочного человека», а я, сделавшись совершеннолетним, дал ей небольшое приданое.

– Какой вы, право, добрый!.. Зачем же вы хотите казаться злым?

– О, я очень добр!.. Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что эта женщина действительно меня любила. Но в то время я не умел различить истинное чувство под смешной наружностью.

– Жаль, что вы не принесли мне это письмо. Я не стала бы ревновать... У нас, женщин, больше чутя, чем у вас; мы по стилю письма сейчас же узнаем, искренен ли писавший его или он разыгрывает страсть.

– Что не мешает вам, однако ж, попадаться так часто в ловушку глупцов и хвастунов!

Произнося эти слова, Сен-Клер смотрел на этрусскую вазу, и в его глазах и в голосе было злое выражение, которого, однако ж, не заметила Матильда.

– Полно! Все вы, мужчины, хотите прослыть за донжуанов. Вам кажется, что обманываете вы, а между тем вы сами часто попадаете в руки доньям жуанитам, еще более развращенным, чем вы.

– Конечно, с вашим тонким умом вы, женщины, должны чувствовать глупца за целую милю. Я не сомневаюсь, например, что ваш друг Масиньи, который был и глупец, и фат, умер девственником и мучеником...

– Масиньи? Он был далеко не так глуп. А потом, женщины тоже бывают глупые. Кстати, я вам расскажу одну историю, случившуюся с Масиньи... Впрочем, я, кажется, уже вам ее рассказывала?..

– Никогда! – произнес Сен-Клер, и голос его дрогнул.

– Возвратясь из Италии, Масиньи влюбился в меня. Он был знаком с моим мужем; муж представил его мне как человека умного и со вкусом. Они были созданы друг для друга. Масиньи был сначала ко мне очень внимателен: преподносил мне акварели, выдавая их за свои, тогда как он попросту покупал их у Шрота, и беседовал со мною о музыке и живописи с видом знатока, не подозревая, как он смешон. Раз получаю я от него письмо невероятного содержания. В нем говорилось, между прочим, что я самая порядочная женщина в Париже – и по этой причине он хочет стать моим любовником. Я показала письмо кухне Жюли. Обе мы тогда были сумасбродками и решили сыграть с ним шутку. Как-то вечером собрались у нас гости, в числе которых был и Масиньи. Кухня вдруг говорит: «Я прочту вам объяснение в любви, – я получила его сегодня утром». Берет письмо и читает его во всеуслышание при общем хохоте! Бедный Масиньи!

Сен-Клер радостно вскрикнул и упал на колени. Схватив руку графини, он поцелуями и окропил слезами. Матильда была крайне удивлена; ей даже показалось, что с ним что-то неладное. Сен-Клер мог только вымолвить: «Простите меня! Простите!» Наконец он встал: на лице его сияла радость. В эту минуту он чувствовал себя счастливее, чем даже в тот день, когда Матильда в первый раз сказала ему: «Я люблю вас!»

– Я самый безумный, самый преступный человек на свете! – вскричал он. – Целых два дня меня мучили подозрения... а я не попытался объяснитьсь с тобой...

– Ты подозревал меня!.. Но в чем же?

– О, я заслужил твое презрение!.. Мне сказали, что ты раньше любила Масиньи...

– Масиньи?..

Она засмеялась. Затем, сделавшись снова серьезной, сказала:

– Огюст! Можно ли быть в самом деле настолько безумным, чтобы дать волю таким подозрениям, и настолько лицемерным, чтобы скрыть их от меня?

В ее глазах блеснули слезы.

– Умоляю, прости меня!

– Могу ли я на тебя сердиться, мой милый?.. Но хочешь, я поклянусь тебе...

– О, верю, верю! Мне не надо клятва...

– Но, ради бога, скажи мне, на чем основывал ты свои нелепые подозрения?

– Виною всему мой злосчастный характер... И еще... эта этрусская ваза... Я знал, что тебе подарил ее Масиньи...

Графиня в изумлении всплеснула руками, но тут же, заливаясь смехом, сказала:

– Моя этрусская ваза! Моя этрусская ваза!

Сен-Клер тоже не мог удержаться от смеха, хотя по щекам его катились крупные слезы.

Он заключил Матильду в объятия и сказал:

– Я не выпущу тебя, пока не получу прощения...

– Прощаю тебя, безумец ты этакый! – проговорила она, нежно его целуя. – Сегодня я счастлива: в первый раз я вижу твои слезы; я не думала, чтобы ты мог плакать.

Высвободившись из его объятий, она схватила этрусскую вазу и, ударив об пол, разбила ее вдребезги. (Ваза принадлежала к числу очень редких. На ней изображен был в три краски бой лапифа с кентавром.)

В течение нескольких часов Сен-Клер был самым смущенным и самым счастливым из смертных.

.....

– Ну что? – спросил Рокантен, встретив полковника Боже вечером в кофейной Тортони. – Неужели это правда?

– К сожалению, да, – отвечал с грустным видом полковник.

– Расскажите же, как все произошло.

– Придраться не к чему. Сен-Клер сразу сказал мне, что он не прав, но хочет принести свои извинения только после того, как Темин сделает первый выстрел. Я не мог не одобрить его. Темин предложил бросить жребий, кому первому стрелять. Но Сен-Клер потребовал, чтобы первым стрелял Темин. Темин выстрелил. Я увидел, как Сен-Клер повернулся и тут же упал мертвым. Мне часто приходилось наблюдать, как солдаты, раненные насмерть, так же странно поворачивались, перед тем как испустить последний вздох.

– Это удивительно! – заметил Рокантен. – Что же сделал Темин?

– То, что делают в подобных случаях. Он с видом глубокого сожаления бросил на землю пистолет. Бросил с такой силой, что собачка сломалась. Пистолет английской фабрики Ментона. Не думаю, чтобы нашелся в Париже оружейник, способный ее исправить.

.....

В течение трех лет графиня никого не хотела видеть. Зимы и лето проводила она в своей усадьбе, редко выходя из комнаты, редко даже обмениваясь словами с горничной-мулаткой, знавшей о ее связи с Сен-Клером. По прошествии этого времени ее кузина Жюли вернулась из дальнего путешествия. Она почти насильно проникла к затворнице и нашла бедную Матильду страшно исхудавшей и бледной, ей показалось, что перед ней труп женщины, которую она оставила такой прекрасной и полной жизни. Ей стоило огромных усилий извлечь Матильду из ее затвора и увезти на Гиерские острова. Там графиня протянула еще три-четыре месяца и наконец скончалась от «грудной болезни, вызванной семейными огорчениями», как уверял лечивший ее доктор М.

Партия в триктрак

Недвижные паруса висели, прилипнув к мачтам; море было ровно, как зеркало; зной был душлив, безветрие приводило в отчаяние.

В морском путешествии возможности для развлечения, которые могут доставить себе обитатели корабля, немногочисленны. Увы! Люди слишком хорошо знают друг друга, проведя вместе четыре месяца в деревянном вместилище длиною в сто двадцать футов.

Вы видите, как подходит старший лейтенант, и вы уж заранее знаете, что он будет говорить вам о Рио-де-Жанейро, где он только что побывал, потом о пресловутом мосте под Эсслингом, построенном на его глазах гвардейским экипажем, в котором тогда служил и он. Недели через две вам уже известны его излюбленные выражения, все, вплоть до манеры расставлять знаки препинания в фразах, до различных интонаций его голоса. Он непременно делает печальную паузу, когда в его рассказе в первый раз встретится слово «император»... «Если бы вы тогда его видели!!!» (три восклицательных знака) – прибавляет он неизменно. А случай с лошадьёю трубача или с ядром, которое рикошетом сорвало сумку, где находилось семь с половиной тысяч франков в золоте и драгоценностях, и пр. и пр.! Младший лейтенант – великий политик; он каждый день комментирует последний номер *Конститусьонеля*, вывезенный им из Бреста; если же он опустится с высот политики и снизойдет до литературы, то угостит вас разбором последнего водевиля, который он только что видел. О боже!.. У судового интенданта была своя весьма интересная история. Когда в первый раз он нам рассказал, как он бежал с понтона в Кадисе, мы слушали его с восторгом; но, право же, при двадцатом повторении это уже было невыносимо... А мичманы, а гардемарины... Как вспомнишь их разговоры, волосы становятся дыбом. Капитан – обычно наименее скучный человек на корабле. В качестве деспотического начальника он находится в состоянии скрытой войны со всем своим штабом, он придирается, иногда притесняет, но зато какое удовольствие потихоньку проклинать его! Если у него есть кое-какие причуды, тягостные для подчиненных, то смеяться над своим начальником тоже не лишено приятности и служит некоторым утешением.

Офицеры корабля, на котором я находился, были превосходнейшими людьми – все добрые малые, любившие друг друга братской любовью; но скучали они вовсю. Капитан был кротчайшим созданием, отнюдь не придиричивым (что встречается весьма редко). Свою диктаторскую власть он проявлял всегда очень неохотно. А все же каким долгим показалось мне это плавание! Особенно тягостно было безветрие, в полосу которого мы попали всего за несколько дней до того, как увидали землю!

Однажды после обеда, который мы от нечего делать тянули, насколько было возможно, мы все собрались на палубе в ожидании однообразного, но всегда величественного зрелища заката солнца на море. Одни курили, другие перечитывали в двадцатый раз какой-нибудь из трех десятков томов нашей жалкой библиотеки; все до слез зевали. Мичман, сидевший рядом со мной, занимался тем, что с важностью, достойной лучшего применения, бросал на дощатый пол палубы острием вниз кортик, который обычно носят при непарадной форме морские офицеры.

Это тоже своего рода развлечение, притом требующее известной ловкости, для того чтобы острие совершенно отвесно воткнулось в доску. Мне захотелось последовать примеру мичмана, и я попросил у капитана его кортик, так как своего у меня не было. Но он отказал мне. Он очень дорожил этим оружием, и ему было бы неприятно, если б оно послужило для такой праздной забавы. Прежде кортик этот принадлежал одному храброму офицеру, к несчастью, погибшему в последнюю кампанию... Я предчувствовал, что за этим последует какая-нибудь история. Я не ошибся. Капитан не заставил себя просить и начал рассказ. Что касается

окужавших нас офицеров, из которых каждый наизусть знал зловключения лейтенанта Роже, они сейчас же потихоньку ретировались. Вот что рассказал мне капитан.

– Когда я познакомился с Роже, он был на три года старше меня: он был лейтенантом, я – мичманом. Уверяю вас, это был один из лучших офицеров в нашей команде, к тому же с прекрасным сердцем, умница, образованный, талантливый – одним словом, очаровательный молодой человек. К несчастью, немного горд и обидчив; происходило это, вероятно, оттого, что он был незаконным сыном и боялся, как бы его происхождение не лишило его положения в обществе. Но, по правде сказать, главным его недостатком было постоянное и непреодолимое желание первенствовать всюду, где бы он ни находился. Отца своего он никогда не видал, но тот выплачивал ему содержание, которого ему за глаза хватало бы, если бы Роже не был воплощенной щедростью. Все, что он имел, было к услугам его друзей. Придешь к нему, после того как он получит свое трехмесячное жалованье, сделаешь печальное и озабоченное выражение лица, и он сейчас же спросит:

– Что с тобой, приятель? Видно, если ты хлопнешь себя по карману, там не очень-то зазвонит... Полно! Вот мой кошелек. Бери, сколько нужно, и едем со мной обедать.

В Брест приехала молодая актриса, очень хорошенькая, по имени Габриэль, и сейчас же одержала ряд побед над моряками и гарнизонными офицерами. Ее нельзя было назвать безупречной красавицей, но она была хорошего роста, у нее были красивые глаза, маленькая ножка и достаточно наглый вид – все это очень нравится малым от двадцати до двадцати пяти лет. Говорили, что к тому же она самое капризное существо женского пола; ее манера играть не опровергала этой репутации. Иногда играла она восхитительно, так, что можно было признать ее за первоклассную артистку, а на следующий день в той же пьесе она была холодна, бесчувственна и произносила свою роль, как ребенок твердит катехизис. наших молодых людей особенно заинтересовала следующая история, которую про нее рассказывали. Будто бы ее содержал, тратя на нее много денег, некий парижский сенатор, совершавший ради нее всяческие, что называется, безумства. В один прекрасный день человек этот, будучи у нее в гостях, надел шляпу; она попросила ее снять, даже принялась жаловаться на недостаток уважения к ней. Сенатор рассмеялся, пожал плечами и, усевшись плотнее в кресло, сказал: «Неужели же я не могу вести себя как дома у девицы, которую я содержу?» В ответ на это Габриэль дала ему своей белой ручкой такую увесистую оплеуху, что шляпа сенатора полетела в другой угол комнаты. В результате – полный разрыв. Банкиры и генералы делали ей солидные предложения, но она на все отвечала отказом и сделалась актрисой, чтобы вести, по ее словам, независимый образ жизни.

Как только Роже ее увидел и узнал про эту историю, он решил, что особа эта как раз по нем, и, чтобы показать ей, насколько ее прелести его тронули, он с грубоватой откровенностью, в которой упрекают нашего брата-моряка, прибегнул к такому способу. Он купил лучших и самых редких, какие только можно было найти в Бресте, цветов, составил из них букет, перевязал его красивой розовой лентой, а в бант очень аккуратно вложил сверток из двадцати пяти золотых: в данную минуту это было все его состояние. Я помню, что в антракте пошел с Роже за кулисы. Он сказал Габриэль коротенький комплимент насчет грации, с какой она носит костюм, поднес букет и попросил разрешения нанести визит. Все это высказано было в двух словах.

Покуда Габриэль видела только цветы и красивого молодого человека, который их подносит, она ему улыбалась и сопровождала свои улыбки премилыми поклонами, но когда она взяла букет в руки и почувствовала тяжесть золота, ее физиономия изменилась быстрее, чем поверхность моря под тропическим ураганом. И действительно, она была не менее сердита, чем ураган; изо всей силы она бросила букет и золотые монеты в лицо моему бедному другу, и

тот целую неделю после этого ходил с синяками. Раздался звонок режиссера. Габриэль вышла на сцену и сыграла все шиворот-навыворот.

Роже сконфуженно подобрал свой букет и сверток с монетами и отправился в кофейную; там он поднес букет (уже без денег) кассирше, а воспоминание о жестокой красавице постарался утопить в пунше. Этому ему не удалось, и, очень досадуя, что никуда не может показаться с подбитым глазом, он все же безумно влюбился в строптивую Габриэль. Он ей писал по двадцати писем в день. И какие это были письма! Смиранные, нежные, почтительные... Их можно было бы адресовать какой-нибудь принцессе. Первые были возвращены ему нераспечатанными, последующие остались без ответа. Роже тем не менее сохранял кое-какую надежду, пока мы не обратили внимания на то, что театральная фруктовщица заворачивала апельсины в любовные письма Роже, которые Габриэль отдавала ей из утонченной злобы. Это был страшный удар для гордости нашего друга. Страсть его, однако, не уменьшалась. Он говорил, что посватается к актрисе; когда же ему сказали, что морской министр не даст ему на это согласия, он объявил, что застрелится.

В это самое время офицерам линейного полка Брестского гарнизона вздумалось заставить Габриэль повторить водевильные куплеты; она закапризничала и отказалась. Офицеры и актриса так старались переупрямить друг друга, что они свистками заставили опустить занавес, а она лишилась чувств. Вы знаете, какая публика в партере гарнизонного города. Офицеры сговорились между собой, что начиная со следующего же дня они будут беспощадно освистывать провинившуюся, что они ей не дадут сыграть ни одной роли, пока она надлежащим смирением не искупит свою вину. Роже не присутствовал на этом представлении, но он в тот же вечер узнал о скандале, взволновавшем весь театр, и о том, какая месть замышляется на следующий день. Решение было принято им немедленно.

На другой день, как только Габриэль появилась на сцене, с офицерских мест раздались оглушительные шиканье и свист. Роже, поместившийся нарочно поблизости от скандалистов, поднялся и запротестовал, позволив себе по отношению к самым шумным из них столь оскорбительные выражения, что вся их ярость тотчас же обратилась на него. Тогда с величайшим хладнокровием он вынул свою записную книжку и стал записывать фамилии, которые ему со всех сторон выкрикивали. Он принял бы вызов от всего полка, если бы из духа товарищества в дело не вмешались многие морские офицеры и не вызвали большую часть его противников. Шум поднялся невероятный.

Весь гарнизон был посажен под арест на несколько дней; но когда офицеров выпустили на свободу, мы должны были рассчитаться со всеми нашими противниками. На место поединка сошлось около шестидесяти человек. Роже довелось драться с тремя офицерами: одного он убил, а двух других тяжело ранил, сам не получив ни одной царапины. Я был менее удачлив: какой-то проклятый лейтенант, который оказался бывшим учителем фехтования, так хватил меня в грудь шпагой, что я чуть не умер. Поверьте, эта дуэль или, лучше сказать, эта битва представляла собой прекрасное зрелище. Флот одержал верх, и полк принужден был покинуть Брест.

Разумеется, высшее начальство не забыло того, кто был виновником этой ссоры. В продолжение двух недель к дверям его был приставлен караул.

К тому времени, как арест с него был снят, я вышел из госпиталя и отправился его навестить. Каково же было мое удивление, когда, войдя к нему, я застал его завтракающим с глазу на глаз с Габриэль! По-видимому, они уже давно пришли к полному соглашению. Они уже говорили друг другу «ты» и пили из одного стакана. Роже представил меня своей любовнице как своего лучшего друга и сообщил ей, что я был ранен в стычке, причиной которой была она. За это я получил поцелуй от прекрасной особы. Наклонности у этой девицы были весьма воинственные.

Три месяца они были вполне счастливы и не разлучались ни на минуту. Габриэль, казалось, страстно полюбила Роже, а он признавался, что до встречи с нею не знал, что такое любовь.

В гавань прибыл голландский фрегат. Офицеры дали обед в нашу честь. Различных вин было выпито более чем достаточно. Наконец убрали со стола; эти господа говорили по-французски очень плохо, и потому собравшиеся, не зная, чем заняться, принялись за игру. У голландцев, по-видимому, было много денег, а их старший лейтенант рвался играть так крупно, что никто из нас не рисковал составить ему партию. Роже, который обычно никогда не играл, решил, что нужно поддержать национальную честь. Итак, он стал играть и отвечал на все ставки голландского лейтенанта. Сначала он был в выигрыше, потом стал проигрывать. Выигрыш и проигрыш несколько раз чередовались, и противники разошлись, закончив игру вничью. Мы дали ответный обед голландским морякам. Снова была игра. Роже и лейтенант возобновили схватку. Одним словом, в течение нескольких дней они сходились то в кофейной, то на корабле, перепробовав всевозможные игры (особенно часто играли они в триктрак) и все время повышали ставки, так что в конце концов дошли до двадцати пяти наполеондоров за партию. Это была огромная сумма для таких неимущих офицеров, как мы, – больше чем двухмесячное жалованье! К концу недели Роже проиграл все свои наличные деньги, да еще в придачу три или четыре тысячи франков, которые он взял займы у кого только мог.

Вы, конечно, понимаете, что в конце концов у Роже и Габриэль хозяйство и касса сделались общими; это означало, что Роже, недавно получивший значительную сумму, вложил в общий котел в десять или двадцать раз больше, чем актриса. Тем не менее он всегда смотрел на общие деньги главным образом как на собственность своей любовницы и удержал для своих личных надобностей каких-нибудь полсотни наполеондоров. Однако теперь он должен был прибегнуть к этому резерву, чтобы продолжить игру. Габриэль на это не сказала ни слова.

Деньги на хозяйство отправились туда же, куда и карманные деньги. Вскоре Роже пришлось поставить последние двадцать пять наполеондоров. Он играл до ужаса старательно, так что партия вышла долгая и упорная. Наступила такая минута, что для Роже, за которым была очередь бросать кости, осталась только одна возможность выиграть: помнится, надо было выкинуть шесть и четыре. Была уже поздняя ночь. Один офицер, долго следивший за их игрой, заснул в кресле. Голландец устал, и ему хотелось спать, к тому же он много выпил пуншу. Один Роже был насторожен. Им владело отчаяние. Он весь дрожал, бросая кости. Он с такой силой швырнул их на игральную доску, что одна свеча от сотрясения упала на пол. Голландец сначала посмотрел на свечу, которая залила воском его новые брюки, а потом уж на кости. Они показывали шесть и четыре. Роже, бледный, как смерть, получил двадцать пять наполеондоров. Они продолжали игру. Счастье улыбнулось моему несчастному другу, хотя он делал промах за промахом и так сам себе загораживал ходы, будто хотел проиграть. Голландский лейтенант упорствовал: он удваивал, удесятерил ставки и все время проигрывал. Как сейчас вижу: высокий блондин, флегматичный, и лицо как будто восковое. Наконец он поднялся, проиграв восемьдесят тысяч франков, и выплатил их без малейших признаков волнения.

Роже сказал ему:

– Сегодняшняя игра не идет в счет: вы почти засыпали; я не возьму ваших денег.

– Вы шутите, – ответил флегматичный голландец, – я очень хорошо играл, но мне не везло. Я уверен, что в любой момент могу вас обыграть в пух и прах. Прощайте!

И они расстались.

На следующий день мы узнали, что в отчаянии от проигрыша он застрелился в своей каюте, предварительно осушив чашу пунша.

Восемьдесят тысяч франков, выигранные Роже, лежали на столе, и Габриэль смотрела на них с улыбкой удовлетворения.

– Вот мы и богаты! – сказала она. – Что мы будем делать с такой кучей денег?

Роже ничего не отвечал; казалось, он не мог прийти в себя после смерти голландца.

– Нужно натворить всяких глупостей, – продолжала Габриэль. – Деньги эти так легко пришли к нам, что истратить их следует с такой же легкостью. Купим коляску и будем дразнить коменданта порта и его жену. Мне хочется бриллиантов, кашемира. Попроси отпуск, и поедем в Париж. Здесь нам ввек не истратить всех этих денег!

Она остановилась и взглянула на Роже. Он не слушал ее, он сидел, подперев голову рукою, не поднимая глаз; казалось, самые мрачные мысли бродили у него в голове.

– Что с тобою, Роже? – воскликнула она, положив руку ему на плечо. – Дуешься ты на меня, что ли? Слова из тебя не вытянешь.

– Я очень несчастен, – произнес он с подавленным вздохом.

– Несчастен! Господи прости, уж не раскаиваешься ли ты в том, что ощипал этого толстого *мингера*?

Он поднял голову и посмотрел на нее остановившимся взором.

– Что за важность, – продолжала она, – что он отнесся к этому так трагически и выпустил себе из головы остатки мозгов? Я не жалею проигравших игроков. Пусть уж лучше его деньги находятся в наших руках, чем в его. Он истратил бы их на выпивку да на табак, меж тем как мы... мы затеем массу чудачеств, одно эlegantнее другого.

Роже ходил по комнате, опустив голову и полuzакрыв глаза, полные слез. Вам стало бы жалко его, если бы вы его видели.

– Знаешь, – сказала Габриэль, – кому неизвестна твоя романтическая чувствительность, тот мог бы подумать, что ты сплутовал в игре.

– А если это так и есть? – произнес он глухим голосом, останавливаясь перед ней.

– Вздор! – ответила она с улыбкой. – У тебя ума не хватит, чтобы сплутовать в игре.

– Да, я сплутовал, Габриэль, сплутовал, как жалкий подлец!

Она поняла по его волнению, что он говорит правду. Она села на кушетку и некоторое время молчала.

– Лучше бы... – наконец промолвила она взволнованным голосом, – лучше бы ты убил десять человек, чем сплутовал в игре.

Полчаса длилась мертвая тишина. Они оба сидели на софе и ни разу не взглянули друг на друга. Роже встал первый и довольно спокойно пожелал ей спокойной ночи.

– Доброй ночи! – ответила она сухо и холодно.

Роже мне потом рассказывал, что он покончил бы с собою тогда же, если бы не боялся, что наши товарищи отгадают причину его самоубийства. Он не хотел, чтобы имя его было покрыто позором.

На следующий день Габриэль была весела, как обычно. Она словно позабыла о вчерашнем признании. А Роже сделался мрачным, капризным, угрюмым, почти не выходил из своей комнаты, избегал друзей и часто целыми днями не говорил ни слова со своей любовницей. Я приписывал его печаль чувствительности, вполне законной, но чрезмерной, и несколько раз пробовал его утешить, но он решительно отвергал эти утешения, высказывая полнейшее равнодушие к судьбе своего несчастного партнера. Однажды он позволил себе даже яростный выпад против голландской нации и пытался мне доказать, что во всей Голландии не найдется ни одного порядочного человека. А между тем тайком он собирал сведения о семье голландского лейтенанта; но никто ничего не мог ему сообщить.

Месяца полтора спустя после злосчастной партии в триктрак Роже нашел у Габриэль записку, писанную каким-то гардемарином, в которой тот, по-видимому, благодарил ее за проявленную к нему благосклонность. Габриэль была воплощенный беспорядок, и вышеупомянутая записка валялась у нее на камине. Не знаю, изменила ли она Роже, но тот уверился в этом и пришел в бешенство. Единственными чувствами, способными еще привязать его к жизни, были любовь и остатки гордости, и вдруг сильнейшее из этих чувств внезапно рушилось. Он

осыпал оскорблениями надменную комедиантку; удивительно, как при своей несдержанности он ее не поколотил.

– Должно быть, – говорил он, – этот фатишка вам дорого заплатил? Вы ведь только деньги и любите. Вы согласились бы расточать свои ласки самому грязному из наших матросов, лишь бы у него было чем платить.

– А почему бы и нет? – холодно возразила актриса. – Да, я взяла бы деньги у матроса, но... *не стала бы его обворовывать.*

У Роже вырвался крик ярости. Дрожа, он выхватил свой кортик и с минуту смотрел на Габриэль блуждающим взором; потом, сделав над собою страшное усилие, швырнул оружие к ее ногам и бросился вон из комнаты, чтобы не поддаться искушению.

В тот вечер я довольно поздно проходил мимо его квартиры, я увидел у него свет и зашел попросить какую-то книгу. Он что-то писал с сосредоточенным видом и, казалось, едва заметил, что я нахожусь в комнате. Я сел около письменного стола и стал вглядываться в его черты; они так изменились, что будь на моем месте кто-нибудь другой, он узнал бы его с трудом. Вдруг я заметил на столе уже запечатанное письмо, адресованное мне. Я сейчас же распечатал его. Роже извещал меня, что он решил покончить с собой, и возлагал на меня различные поручения. Пока я читал, он продолжал писать, не обращая на меня внимания: он прощался с Габриэль... Можете себе представить мое удивление! Пораженный его решением, я воскликнул:

– Как! Ты хочешь покончить с собой? Ты, такой счастливый человек?

– Друг мой! – сказал он, запечатывая письмо. – Ты ничего не знаешь. Ты не имеешь понятия, кто я такой. Я мошенник. Я столь презренный человек, что гулящая девка может меня оскорбить, и я так живо чувствую свою низость, что не смею прибить ее.

Тут он рассказал мне историю партии в триктрак и все, что вы уже знаете. Я был взволнован не меньше, чем он. Я не знал, что ему сказать; я пожимал ему руки, на глазах у меня выступили слезы, но я не мог говорить. Наконец мне пришлось в голову убедить его, что он не должен упрекать себя в том, что сознательно разорил голландца: в сущности говоря, при помощи плутовства он выиграл у него только двадцать пять наполеондоров.

– Значит, – вскричал он с горькой иронией, – я мелкий вор, а не крупный! При моем честолюбии быть простым воришкой!

И он расхохотался.

Я залился слезами.

Вдруг дверь отворилась. Вошла женщина и бросилась ему на грудь; то была Габриэль.

– Прости меня! – воскликнула она, сжимая его своими руками. – Прости меня! Я чувствую, что люблю тебя теперь, когда ты совершил поступок, в котором так раскаиваешься. Хочешь, я тоже украду?.. Я уже украла... Да, я украла: я украла золотые часы... Что может быть хуже?

Роже недоверчиво покачал головой; но чело его как будто бы прояснилось.

– Нет, бедное дитя, – сказал он, тихонько отстраняя ее, – я непременно должен убить себя. Я слишком страдаю, я не в состоянии переносить боль, которую я испытываю.

– Ну, хорошо. Если ты хочешь умереть, Роже, я умру с тобой! Без тебя что значит для меня жизнь? Я не труслива, я стреляла из ружья и сумею убить себя, как любой мужчина. К тому же я играла в трагедиях, у меня есть опыт.

Вначале у нее были слезы на глазах, но эта последняя фраза заставила ее рассмеяться; даже у самого Роже она вызвала улыбку.

– Ты смеешься, мой офицер! – воскликнула она, хлопая в ладоши и целуя его. – Ты не убьешь себя!

Она продолжала его целовать, то плача, то смеясь, то ругаясь, как матрос. Она была не из тех женщин, что боятся крепких слов.

Между тем я отобрал у Роже пистолеты и кортик и сказал ему:

– Милый Роже! У тебя есть возлюбленная и есть друг, которые тебя любят. Поверь, ты еще можешь быть счастлив в этой жизни.

Я поцеловал его и вышел, оставив его наедине с Габриэль.

Мне думается, нам удалось бы лишь отсрочить его гибельное намерение, если бы он не получил от министра приказ отправиться в качестве старшего лейтенанта на фрегате, в задачи которого входило пробиться сквозь английскую эскадру, блокировавшую порт, и крейсировать затем в Индийском океане. Дело было рискованное. Я дал ему понять, что лучше с честью умереть от английской пули, чем самому прекратить свое существование без славы и без всякой пользы для отечества. Он дал обещание не убивать себя. Половину из восьмидесяти тысяч франков он раздал матросам-инвалидам, вдовам и сиротам моряков. Остальное он передал Габриэль, перед этим давшей клятву, что она употребит деньги исключительно на благотворительные цели. Бедная девушка твердо намеревалась сдержать свое слово, но порывы ее были скоротечны. Впоследствии я узнал, что несколько тысяч она раздала бедным. На остальные накупила тряпок.

Мы с Роже сели на прекрасный фрегат «Галатея». Матросы были храбры, хорошо обучены и вымуштрованы, но командовал нами полнейший невежда, воображающий себя Жаном Бартом только потому, что ругался не хуже каптенармуса, коверкал язык и никогда не изучал теории той профессии, которую и на практике-то знал кое-как. Тем не менее на первых порах судьба ему благоприятствовала. Мы благополучно вышли из рейда: нам помог сильный ветер, принудивший блокирующую эскадру уйти в открытое море. Наше крейсирование мы начали с того, что у берегов Португалии спалили английский корвет и судно Ост-Индской компании.

К индийским водам мы подвигались медленно: ветер был не попутный, и капитан наш так неудачно маневрировал, что от его неловкости наше плавание становилось еще опаснее. Ни одного дня не проходило без какого-нибудь приключения: то нас преследовали превосходящие нас силы, то мы гнались за торговыми судами. Но ни полная опасностей жизнь, ни хлопотливая служба на фрегате не могли рассеять печальные мысли, которые преследовали Роже. Когда-то он слыл за самого деятельного и блестящего офицера в нашем порту; теперь он ограничивался только исполнением своих служебных обязанностей. Как только оканчивалась служба, он запирался в своей каюте, где у него не было ни книг, ни бумаги. Несчастный целыми часами лежал на койке и не мог заснуть.

Однажды, видя его удрученное состояние, я решился заговорить с ним:

– Послушай, милый! Ты расстраиваешься из-за пустяков. Ты стащил у толстого голландца двадцать пять наполеондоров, а угрызений совести у тебя больше, чем на миллион. А скажи: когда ты был любовником жены префекта в ***, у тебя не было угрызений совести? А между тем она стояла подороже, чем двадцать пять наполеондоров.

Он повернулся на своем тюфяке, ничего мне не ответил.

Я продолжал:

– В конце концов, у твоего преступления (ведь ты утверждаешь, что это – преступление) был достойный уважения повод, и оно проистекало от возвышенного чувства.

Он повернулся ко мне лицом, и в его взгляде сверкнуло бешенство.

– Конечно. Что случилось бы с Габриэль, если бы ты проиграл? Бедная девушка! Она продала бы для тебя последнюю рубашку... Если бы ты проиграл, ты бы обрек ее на нищету... Именно ради нее, из любви к ней ты сплутывал... Есть люди, которые из-за любви убивают других... убивают себя... Ты же, милый Роже, сделал больше. Людям вроде нас с тобой требуется гораздо больше мужества, чтобы украсть, чем для того, чтобы покончить с собой.

– Теперь, может быть, я вам кажусь смешным, – обратился ко мне капитан, прерывая рассказ. – Но уверяю вас, что в ту минуту дружеские чувства к Роже придавали мне красно-

речие, которого в настоящее время я в себе не нахожу. И, черт бы меня побрал, я говорил совершенно искренне, я верил в то, что говорил! Да, тогда я был еще молод!

Роже помолчал, потом протянул мне руку.

– Друг мой, – сказал он, по-видимому, сделав над собой большое усилие. – Ты меня приукрашиваешь. Я жалкий подлец. Когда я сплутовал в игре с голландцем, я думал только о том, чтобы выиграть двадцать пять наполеондоров, – вот и все. О Габриэль я совсем тогда не думал, вот почему я себя презираю... Оценить свою честь меньше, чем в двадцать пять наполеондоров!.. Какая низость!.. О, я был бы счастлив, если бы мог сказать: «Я совершил кражу, чтобы спасти Габриэль от нищеты»... Нет, нет... о ней я не думал... В ту минуту я не был влюбленным... я был игроком... я был вором... Я украл деньги, чтобы присвоить их... и поступок этот унизил, опустошил меня до такой степени, что теперь у меня нет ни мужества, ни любви... Я живу и не думаю больше о Габриэль... я – конченный человек.

Он казался таким несчастным, что, попроси он у меня пистолеты, чтобы застрелиться, я, вероятно, дал бы ему их.

В одну из пятниц (тяжелый день!) большой английский фрегат «Алкеста» погнался за нами. На нем было пятьдесят восемь пушек, тогда как у нас всего тридцать восемь. Мы подняли все паруса, чтобы ускользнуть от него, но его ход был быстрее нашего, и он с каждой минутой к нам приближался; было очевидно, что до наступления темноты нам придется вступить в неравный бой. Капитан позвал к себе Роже, и они совещались добрых четверть часа. Роже вернулся на палубу, взял меня под руку и отвел в сторону.

– Через два часа, – сказал он, – завяжется бой. Наш храбрец, который сейчас дерет горло на шканцах, совсем потерял голову. У нас было два выхода: один, наиболее благородный, – это подпустить к себе врага, затем, взяв его на абордаж, перебросить ему на борт сотню головорезов; другим выходом, тоже неплохим, хотя и менее красивым, было – несколько облегчить себя, выбросив в море часть наших пушек. Тогда мы смогли бы близко подойти к африканскому берегу, что виден там, налево от нас. Англичанин побоялся бы сесть на мель и был бы вынужден дать нам возможность уйти от него. Но наш капитан – ни трус, ни герой: он предоставит врагам издали громить нас, с часок продержится, а потом с честью сдастся. Тем хуже для тебя: тебя ждут портсмутские понтоны. А я, я туда не собираюсь.

– А может быть, – сказал я, – мы первыми же выстрелами причиним врагу такие повреждения, что он вынужден будет прекратить погоню?

– Послушай: я не хочу попасть в плен, я хочу быть убитым; пора с этим покончить. Если, на беду, я буду только ранен, дай мне слово, что ты бросишь меня в море. Оно должно быть смертным одром для такого моряка, как я.

– Что за вздор! – воскликнул я. – Хорошие поручения ты мне даешь!

– Ты исполнишь свой долг верного друга. Ты знаешь: мне нужно умереть. Вспомни: я согласился не кончать жизнь самоубийством только в надежде, что я буду убит. Ну, обещай мне исполнить мою просьбу, а не то я обращусь за этой услугой к подшкиперу, и он не откажет мне.

Подумав, я сказал:

– Даю тебе слово, что, если ты будешь смертельно ранен, без надежды на выздоровление, я исполню твое желание. В этом случае я согласен избавить тебя от мучений.

– Я буду смертельно ранен или просто буду убит.

Он протянул мне руку, я крепко ее пожал. С этой минуты он стал спокойнее, даже какой-то военный задор заиграл на его лице.

К трем часам пополудни выстрелы носовых орудий противника начали задевать наши снасти. Тогда мы свернули часть парусов, стали в траверз к «Алкесте» и открыли беглый огонь; англичане тоже спуска нам не давали. После пальбы, длившейся примерно час, наш капитан, все делавший невпопад, решил попробовать абордаж. Но у нас было уже много убитых и ране-

ных, а у остальных пропал боевой пыл; к тому же наши снасти немало пострадали, а мачты были сильно повреждены. В ту минуту, как мы распустили паруса, чтобы подойти к англичанам, наша грот-мачта, ничем больше не поддерживаемая, рухнула со страшным грохотом. «Алкеста» воспользовалась замешательством, произведенным этой бедою: она прошла мимо нашей кормы и на половинном расстоянии пистолетного выстрела разрядила в нас все свои бортовые орудия; так она прошла вдоль нашего несчастного фрегата, который мог противопоставить ей с этой стороны только две маленькие пушки.

В эту минуту я находился около Роже, который рубил ванты, еще державшие свалившуюся мачту. Я почувствовал, что он крепко сжимает мне руку. Оборачиваюсь и вижу: он опрокинулся на палубу и весь залит кровью. Он только что получил заряд картечи в живот.

Капитан подбежал к нему.

– Что делать, лейтенант? – вскричал он.

– Прибить флаг к обломку мачты и пустить судно ко дну.

Капитану не очень понравился этот совет, и он сейчас же отошел.

– Ну, – произнес Роже, – не забудь своего обещания.

– Пустяки! – ответил я. – Ты еще поправишься.

– Бросай меня за борт! – закричал он с ужасными ругательствами, хватая меня за полы. –

Ты видишь, я все равно подохну; бросай меня в море; я не хочу видеть, как спустят флаг.

К нему подошли два матроса, чтобы отнести его в трюм.

– К пушкам, мерзавцы! – закричал он. – Палите картечью, цельтесь в верхнюю палубу!

А ты – раз ты не держишь слова, я тебя проклиная, считаю за самого трусливого и подлого человека!

Рана его, очевидно, была смертельна. Я видел, как капитан подозвал гардемарина и приказал ему спустить флаг.

– Дай мне руку, – сказал я Роже.

В то самое мгновение, когда флаг наш был спущен...

– Капитан! У бакборта кит! – прервал рассказчика подбежавший мичман.

– Кит! – вскричал капитан, просияв от радости и прервав свой рассказ. – Живо! Шлюпку в море! Лодку в море! Все шлюпки в море! Гарпуны, веревки! И т. д. и т. д.

Так мне и не удалось узнать, как умер бедный лейтенант Роже.

Двойная ошибка

*Zagala, más que las flores
Blanca, rubia y ojos verdes!
Si piensas seguir amores,
Piérdote bien, pues te pierdes³.*

Глава 1

Жюли де Шаверни была замужем около шести лет, и вот уж пять с половиной лет, как она поняла, что ей не только невозможно любить своего мужа, но даже трудно питать к нему хотя бы некоторое уважение.

Между тем муж отнюдь не был человеком бесчестным; он не был ни грубияном, ни дураком. А все-таки его, пожалуй, можно было назвать всеми этими именами. Если бы она углубилась в свои воспоминания, она припомнила бы, что когда-то он был ей приятен, но теперь он казался ей несносным. Все в нем отталкивало ее. При взгляде на то, как он ел, пил кофе, говорил, с ней делались нервные судороги. Они виделись и разговаривали только за столом, но обедать вместе им приходилось несколько раз в неделю, и этого было достаточно, чтобы поддерживать отвращение Жюли.

Шаверни был довольно представительный мужчина, слишком полный для своего возраста, сангвиник, со свежим цветом лица, по характеру своему не склонный к тому смутному беспокойству, которому часто подвержены люди, обладающие воображением. Он свято верил, что жена питает к нему спокойную дружбу (он слишком был философом, чтобы считать себя любимым, как в первый день супружества), и уверенность эта не доставляла ему ни удовольствия, ни огорчения; он легко примирился бы и с обратным положением. Он несколько лет прослужил в кавалерийском полку, но, получив крупное наследство, почувствовал, что гарнизонная жизнь ему надоела, подал в отставку и женился. Объяснить брак двух молодых людей, не имеющих ничего общего, – это довольно трудная задача. С одной стороны, дед с бабкой и некоторые услужливые люди, которые, подобно Фрозине, охотно повенчали бы Венецианскую республику с турецким султаном, изрядно хлопотали, чтобы упорядочить материальные дела. С другой стороны, Шаверни происходил из хорошей семьи, в то время еще не растолстел, был весельчаком и в полном смысле слова «добрым малым». Жюли нравилось, что он ходит к ее матери, так как он смешил ее рассказами из полковой жизни, комизм которых не всегда отличался хорошим вкусом. Она находила, что он очень мил, так как он танцевал с нею на всех балах и всегда придумывал способ уговорить мать Жюли остаться на них подольше, съездить в театр или в Булонский лес. Наконец, Жюли считала его героем, так как он два или три раза с честью дрался на дуэли. Но окончательную победу доставило Шаверни описание кареты, которую он собирался заказать по собственному рисунку и в которой он обещал сам повезти Жюли, когда она согласится отдать ему свою руку.

Через несколько месяцев после свадьбы все прекрасные качества Шаверни в значительной степени потеряли свою ценность. Нечего и говорить, что он уже не танцевал со своей женой. Забавные истории свои он пересказал уже раза по три, по четыре. Теперь он находил, что балы ужасно затягиваются. В театрах он зевал и считал невыносимо стеснительным обычай одеваться к вечеру. Главным его недостатком была леность. Если бы он заботился о

³ Девушка зеленоглазая, Более белая и алая, чем цветы! Коль скоро ты решила полюбить, То погибай до конца, раз уж ты гибнешь (исп.). Старинная испанская народная песня

том, чтобы нравиться, ему это, может быть, и удалось бы, но всякое стеснение казалось ему наказанием – это свойство почти всех тучных людей. В обществе ему было скучно, потому что там любезный прием прямо пропорционален усилиям, затраченным на то, чтобы понравиться. Шумный кутеж предпочитал он всяким более изысканным развлечениям, ибо для того, чтобы выделиться в среде людей, которые были ему по вкусу, ему было достаточно перекричать других, а это не представляло для него трудностей при его могучих легких. Кроме того, он полагал свою гордость в том, что мог выпить шампанского больше, чем обыкновенный человек, и умел превосходно брать четырехфутовые барьеры. Таким образом, он приобрел вполне заслуженное уважение среди тех трудно определяемых существ, которые называются «молодыми людьми» и которыми кишат наши бульвары начиная с пяти часов вечера. Охота, загородные прогулки, скачки, холостые обеды, холостые ужины – всему этому он предавался со страстью. Раз двадцать на дню он повторял, что он счастливейший из смертных. И всякий раз, как Жюли это слышала, она поднимала глаза к небу, и маленький ротик ее выражал при этом несказанное презрение.

Она была молода, красива и замужем за человеком, который ей не нравился; вполне понятно, что ее окружало далеко не бескорыстное поклонение. Но, не считая присмотра матери, женщины очень благоразумной, собственная ее гордость (это был ее недостаток) до сей поры охраняла ее от светских соблазнов. К тому же разочарование, которое постигло ее в замужестве, послужив ей до некоторой степени уроком, притупило в ней способность воспламеняться. Она гордилась тем, что в обществе ее жалеют и ставят в пример как образец покорности судьбе. Она была по-своему даже счастлива, так как никого не любила, а муж предоставлял ей полную свободу. Ее кокетство (надо признаться, она все же любила порисоваться тем, что ее муж даже не понимает, каким он обладает сокровищем) было совершенно инстинктивным, как кокетство ребенка. Оно отлично уживалось с пренебрежительной сдержанностью, совсем непохожей на чопорность. Притом она умела быть любезной со всеми, и со всеми одинаково. В ее поведении невозможно было найти ни малейшего повода для злословия.

Глава 2

Супруги обедали у матери Жюли г-жи де Люсан, собиравшейся уехать в Ниццу. Шаверни, который смертельно скучал у своей тещи, принужден был провести там вечер, хотя ему и очень хотелось встретиться со своими друзьями на бульваре. После обеда он уселся на удобный диван и просидел два часа, погруженный в молчание. Объяснялось его поведение очень просто: он заснул, сохраняя, впрочем, вполне приличный вид, склонив голову набок, словно с интересом прислушиваясь к разговору. Время от времени он даже просыпался и вставлял одно-два словечка.

Затем пришлось сесть за вист. Этой игры он терпеть не мог, так как она требует известного умственного напряжения. Все это задержало его довольно долго. Пробыло половину двенадцатого. На вечер Шаверни не был никуда приглашен – он решительно не знал, куда деваться. Покуда он мучился этим вопросом, доложили, что экипаж подан. Если он поедет домой, нужно будет ехать с женой; перспектива провести с ней двадцать минут с глазу на глаз пугала его. Но у него не было при себе сигар, и он сгорал от нетерпения вскрыть новый ящик, полученный им из Гавра как раз в ту минуту, когда он выезжал на обед. Он покорился своей участи.

Окутывая жену шалью, он не мог удержаться от улыбки, когда увидел себя в зеркале исполняющим обязанности влюбленного мужа. Обратил он внимание и на жену, на которую за весь вечер ни разу не взглянул. Сегодня она показалась ему красивее, чем обыкновенно; поэтому он довольно долго расправлял складки на ее шали. Жюли было также не по себе от предвкушения супружеского тет-а-тета. Она надула губки, и дуги бровей у нее невольно сдвинулись. Все это придало ее лицу такое привлекательное выражение, что даже сам муж не мог остаться равнодушным. Глаза их в зеркале встретились во время только что описанной процедуры. Оба смутились. Чтобы выйти из неловкого положения, Шаверни, улыбаясь, поцеловал у жены руку, которую она подняла, чтобы поправить шаль.

– Как они любят друг друга! – прошептала г-жа де Люсан, не замечая ни холодной пренебрежительности жены, ни равнодушия супруга.

Сидя рядом в своем экипаже, почти касаясь друг друга, они некоторое время молчали. Шаверни отлично знал, что из приличия нужно о чем-нибудь заговорить, но ему ничего не приходило в голову. Жюли хранила безнадежное молчание. Он зевнул раза три или четыре, так что самому стало стыдно, и при последнем зевке счел необходимым извиниться перед женой.

– Вечер затянулся, – заметил он в виде оправдания.

Жюли усмотрела в этом замечании намерение покритиковать вечера у ее матери и сказать ей какую-нибудь неприятность. С давних пор она привыкла уклоняться от всяких объяснений с мужем; поэтому она продолжала хранить молчание.

У Шаверни в этот вечер неожиданно развязался язык; минуты через две он снова начал:

– Я отлично пообедал сегодня, но должен вам сказать, что шампанское у вашей матушки слишком сладкое.

– Что? – спросила Жюли, неторопливо повернув к нему голову и притворяясь, что не расслышала.

– Я говорю, что шампанское у вашей матушки слишком сладкое. Я забыл ей об этом сказать. Странное дело: воображают, что нет ничего легче, как выбрать шампанское. Между тем это очень трудно. На двадцать плохих марок одна хорошая.

– Да?

Удостоив его из вежливости этим восклицанием, Жюли отвернулась и стала смотреть в окно кареты. Шаверни откинулся на спинку и положил ноги на переднюю скамеечку, несколько раздосадованный тем, что жена его так явно равнодушна ко всем его стараниям завязать разговор.

Тем не менее, зевнув еще раз два или три, он снова начал, придвигаясь к Жюли:

– Сегодняшнее ваше платье удивительно к вам идет, Жюли. Где вы его заказывали?

«Наверно, он хочет заказать такое же для своей любовницы», – подумала Жюли и, слегка улыбнувшись, ответила:

– У Бюрти.

– Почему вы смеетесь? – спросил Шаверни, снимая ноги со скамеечки и придвигаясь еще ближе.

В то же время он жестом, несколько напомиавшим Тартюфа, стал поглаживать рукав ее платья.

– Мне смешно, что вы замечаете, как я одета, – отвечала Жюли. – Осторожнее! Вы изомнете мне рукава.

И она высвободила свой рукав.

– Уверяю вас, я очень внимательно отношусь к вашим туалетам и в полном восхищении от вашего вкуса. Честное слово, еще недавно я говорил об этом с... с одной женщиной, которая всегда очень плохо одета... хотя ужасно много тратит на платья... Она способна разорить... Я говорил с ней... и ставил в пример вас...

Жюли доставляло удовольствие его смущение; она даже не пыталась прийти к нему на помощь и не прерывала его.

– У вас неважные лошади: они еле передвигают ноги. Нужно будет их переменить, – произнес Шаверни, совершенно смешавшись.

В течение остального пути разговор не отличался оживленностью: с той и с другой стороны он не шел далее нескольких фраз.

Наконец супруги добрались до дому и расстались, пожелав друг другу спокойной ночи.

Жюли начала раздеваться. Горничная ее зачем-то вышла, дверь в спальне неожиданно отворилась, и вошел Шаверни. Жюли торопливо прикрыла плечи платком.

– Простите, – сказал он, – мне бы хотелось почитать на сон грядущий последний роман Вальтера Скотта... *Квентин Дорвард*, кажется?

– Он, наверное, у вас, – ответила Жюли, – здесь книг нет.

Шаверни посмотрел на жену. Полуодетая (а это всегда подчеркивает красоту женщины), она показалась ему, если пользоваться одним из ненавистных мне выражений, *пикантной*. «В самом деле, она очень красива!» – подумал Шаверни. И он продолжал стоять перед нею, не двигаясь с места и не говоря ни слова, с подсвечником в руке. Жюли тоже стояла перед ним и мяла ночной чепчик, казалось, с нетерпением ожидая, когда он оставит ее одну.

– Вы сегодня очаровательны, черт меня побери! – воскликнул Шаверни, делая шаг вперед и ставя подсвечник. – Люблю женщин с распущенными волосами!

С этими словами он схватил рукою одну из прядей, покрывавших плечи Жюли, и почти с нежностью обнял ее за талию.

– Боже мой, как от вас пахнет табаком! – воскликнула Жюли и отвернулась. – Оставьте мои волосы в покое, а то они пропитаются табачным запахом, и я не смогу от него отделаться.

– Пустяки! Вы говорите это просто так, зная, что я иногда курю. Ну, женушка, не изображайте из себя недотрогу!

Она недостаточно быстро вырвалась из его объятий, так что ему удалось поцеловать ее в плечо.

К счастью для Жюли, вернулась горничная. Для женщин нет ничего ненавистнее подобных ласк, которые и принимать, и отвергать одинаково смешно.

– Мари! – обратилась г-жа де Шаверни к горничной. – У моего голубого платья лиф слишком длинен. Я видела сегодня госпожу де Бежи, а у нее безукоризненный вкус: лиф у нее был на добрых два пальца короче. Заколите складку булавками – посмотрим, как это выйдет.

Между горничной и барыней завязался самый оживленный разговор относительно того, какой длины должен быть лиф. Жюли знала, что Шаверни терпеть не может разговоров о тряпках и что она его выживет таким образом. Действительно, походив взад и вперед минут пять и видя, что Жюли всецело занята своим лифом, Шаверни зевнул во весь рот, взял свой подсвечник, вышел и больше не возвращался.

Глава 3

Майор Перен сидел за маленьким столиком и внимательно читал. Тщательно вычищенный сюртук, фуражка и в особенности гордо выпяченная грудь – все выдавало в нем старого служаку. В комнате у него все было чисто, но крайне просто. Чернильница и два очиненных пера находились на столе рядом с пачкой почтовой бумаги, ни один листик которой не был пущен в ход по крайней мере в течение года. Но если майор Перен не любил писать, то читал он очень много. В настоящее время он читал *Персидские письма*, покуривая пенковую трубку, и двойное занятие это поглощало все его внимание, так что он не сразу заметил, как в его комнату вошел майор де Шатофор. Это был молодой офицер из его полка, обладавший очаровательной наружностью, крайне любезный, фатоватый, которому очень покровительствовал военный министр, – словом, почти во всех отношениях прямая противоположность майору Перену. Тем не менее они почему-то дружили и видались ежедневно.

Шатофор хлопнул по плечу майора Перена. Тот обернулся, не вынимая трубки изо рта. Первым чувством его была радость при виде друга; вторым – сожаление (достойный человек!), что его оторвали от книги; третьим – покорность обстоятельствам и полная готовность быть гостеприимным хозяином. Он стал отыскивать в кармане ключ от шкафа, где хранилась заветная коробка с сигарами, которых сам майор не курил, но которыми он по одной угощал своего друга.

Но Шатофор, выдавший это движение сотни раз, остановил его, воскликнув:

– Не надо, дядюшка Перен, поберегите ваши сигары! Я взял с собой.

Затем он достал изящный портсигар из мексиканской соломки, вынул оттуда сигару цвета корицы, заостренную с обоих концов, и, закурив ее, растянулся на маленькой кушетке, которой майор Перен никогда не пользовался; голову он положил на изголовье, а ноги – на противоположный валик. Первым делом Шатофор окутал себя облаком дыма; потонув в нем, он закрыл глаза, словно обдумывая то, что намеревался сообщить. Лицо его сияло от радости; грудь, по-видимому, с трудом удерживала тайну счастья – он горел нетерпением выдать ее. Майор Перен, усевшись на стул около кушетки, некоторое время курил молча, потом, видя, что Шатофор не торопится рассказывать, спросил:

– Как поживает Урика?

Урика была черная кобыла, которую Шатофор загнал, чуть не доведя ее до запала.

– Отлично, – ответил Шатофор, не расслышав вопроса. – Перен! – вскричал он, вытягивая по направлению к нему ногу, лежавшую на валике кушетки. – Знаете ли вы, что для вас большое счастье быть моим другом?..

Старый майор стал перебирать в уме, какие выгоды имел он от знакомства с Шатофором, но ничего не мог вспомнить, кроме нескольких фунтов кнастера, которые тот ему подарил, да нескольких дней ареста за участие в дуэли, где первую роль играл Шатофор. Правда, его друг неоднократно давал ему доказательства своего доверия. Шатофор всегда обращался к Перену, когда нужно было заменить его по службе или когда ему требовался секундант.

Шатофор не дал ему времени на раздумье и протянул письмецо на атласной английской бумаге, написанное красивым бисерным почерком. Майор Перен соорудил гримасу, которая у него должна была заменять улыбку. Он часто видел эти атласные письма, покрытые бисерным почерком и адресованные его другу.

– Вот, прочтите, – сказал тот, – вы этим обязаны мне.

Перен прочел нижеследующее:

Было бы очень мило с Вашей стороны, дорогой господин де Шатофор, если бы Вы пришли к нам пообедать. Господин де Шаверни лично приехал бы Вас пригласить, но он должен

отправиться на охоту. Я не знаю адреса майора Перена и не могу послать ему письменное приглашение. Вы возбудили во мне желание познакомиться с ним, и я буду Вам вдвойне обязана, если Вы привезете его к нам.

Жюли де Шаверни

Р. С. Я Вам крайне признательна за ноты, которые Вы для меня потрудились переписать. Музыка очаровательна и, как всегда, доказывает Ваш вкус. Вы не приходите больше к нам по четвергам. Между тем Вы знаете, какое удовольствие доставляют нам Ваши посещения.

– Красивый почерк, только слишком мелкий, – сказал Перен, окончив чтение. – Но, черт возьми, обед этот мало меня интересует; придется надеть шелковые чулки и не курить после обеда!

– Какая неприятность!.. Стало быть, вы предпочитаете трубку самой хорошенькой женщине в Париже... Но больше всего меня удивляет ваша неблагодарность, вы даже не поблагодарили меня за счастье, которым обязаны мне.

– Вас благодарить? Но ведь этим удовольствием я обязан не вам... если только это можно назвать удовольствием.

– А кому же?

– Шаверни, который был у нас ротмистром. Наверно, он сказал своей жене: «Пригласи Перена, он добрый малый». С какой стати хорошенькая женщина, с которой я встречался всего один раз, будет приглашать такую старую корягу?

Шатофор улыбнулся и взглянул в узенькое зеркальце, украшавшее помещение майора.

– Сегодня вы не особенно проникательны, дядюшка Перен. Перечтите-ка еще раз это письмо: может быть, вы найдете кое-что, чего вы не рассмотрели.

Майор рассмотрел письмо со всех сторон, но ничего не увидел.

– Как! – вскричал Шатофор. – Неужели вы, старый драгун, не понимаете? Ведь она приглашает вас, чтобы доставить мне удовольствие, единственно из желания показать мне, что она считается с моими друзьями... чтобы дать мне понять...

– Что? – перебил его Перен.

– Что? Вы сами знаете что.

– Что она вас любит? – спросил недоверчиво майор.

Шатофор в ответ засвистел.

– Значит, она влюблена в вас?

Шатофор снова свистнул.

– Она призналась вам?

– Но... Мне кажется, это и так видно.

– Откуда?.. Из этого письма?..

– Конечно.

Теперь уже засвистел Перен. Свист его был так же многозначителен, как пресловутое *Лиллибулерио* дядюшки Тоби.

– Как! – вскрикнул Шатофор, вырывая письмо из рук Перена. – Вы не видите, сколько в этом письме заключено... нежности... именно нежности? «Дорогой господин де Шатофор», – что вы на это скажете? Заметьте, что раньше в письмах она писала мне просто «милостивый государь». «Я буду Вам вдвойне обязана» – это ясно. И посмотрите, в конце зачеркнуто слово «искренне». Она хотела написать «искренне расположенная к Вам», но не решилась. А «искренне уважающая Вас» ей казалось слабым... Она не кончила письма... Чего вы еще хотите, старина? Чтобы дама из хорошей семьи бросилась на шею вашему покорнейшему слуге как маленькая гризетка?.. Письмо, уверяю вас, очаровательно, нужно быть слепым, чтобы не видеть всей его страстности... А что вы скажете об упреках в конце письма за то, что я пропустил один-единственный четверг?

– Бедная женщина! – воскликнул Перен. – Не влюбляйся в этого человека: ты очень скоро расквасишься.

Шатофор пропустил мимо ушей восклицание приятеля и, понизив голос, заговорил вкрадчиво:

– Знаете, дорогой, вы могли бы мне оказать большую услугу...

– Каким образом?

– Вы должны мне помочь в этом деле. Я знаю, что муж с ней очень плохо обращается... Из-за этого скота она несчастна... Вы его знаете, Перен. Подтвердите его жене, что он – грубое животное и что репутация у него прескверная.

– О!..

– Развратник... Вы же знаете! Когда он был в полку, у него были любовницы, и какие любовницы! Расскажите обо всем его жене.

– Но как же говорить о таких вещах? Соваться не в свое дело!..

– Боже мой, все можно сказать умеючи! Но главное, отзовитесь с похвалой обо мне.

– Это легче. Но все-таки...

– Не так-то легко, как кажется. Дай вам волю, вы меня так расхвалите, что от ваших похвал не поздоровится... Скажите ей, что с некоторых пор, как вы замечаете, я сделался грустным, перестал разговаривать, перестал есть...

– Еще чего! – воскликнул Перен, громко расхохотавшись, отчего трубка его заплясала самым забавным образом. – Этого я никогда не смогу сказать в лицо госпоже де Шаверни. Еще вчера вечером вас чуть не на руках унесли после обеда, который нам давали сослуживцы.

– Да, но рассказывать ей об этом – совершенно лишнее. Пусть она знает, что я в нее влюблен. А эти писаки-романисты вбили женщинам в голову, что человек, который ест и пьет, не может быть влюбленным.

– Вот я, например, не знаю, что бы могло меня заставить отказаться от еды и питья.

– Итак, решено, дорогой Перен! – сказал Шатофор, надевая шляпу и поправляя завитки волос. – В четверг я за вами захожу. Туфли, шелковые чулки, парадный мундир. Главное, не забудьте наговорить ей всяких ужасов про мужа и как можно больше хорошего про меня.

Он ушел, грациозно помахивая тросточкой, а майор Перен остался, крайне обеспокоенный только что полученным приглашением. Особенно мучила его мысль о шелковых чулках и парадном мундире.

Глава 4

Обед оказался скучноватым, так как многие из приглашенных к г-же де Шаверни прислали извинительные записки. Шатофор сидел рядом с Жюли, заботливо услуживал ей, был галантен и любезен, как всегда. Что касается Шаверни, то, совершив утром длинную прогулку верхом, он здорово проголодался. Ел и пил он так, что возбудил бы аппетит даже у смертельно больного. Майор Перен поддерживал компанию, часто подливал ему вина и так хохотал, что стекла дребезжали всякий раз, когда бурная веселость хозяина давала ему повод для смеха. Шаверни, очутившись снова в обществе военных, сразу обрел и прежнее хорошее настроение, и казарменные замашки; впрочем, он никогда особенно не стеснялся в выборе выражений. Жена его принимала холодно-презрительный вид при каждой его грубой шуточке. В таких случаях она поворачивалась в сторону Шатофора и заводила с ним отдельную беседу, чтобы не было заметно, что она слышит разговор, который ей был в высшей степени неприятен.

Приведем образчик изысканности этого примерного супруга. Под конец обеда речь зашла об опере, стали обсуждать достоинства различных танцовщиц; в числе других очень хвалили мадемуазель Н. Шатофор старался больше всех, расхваливая в особенности ее грацию, стройность, скромный вид.

Перен, которого Шатофор несколько дней тому назад водил в оперу и который был там один-единственный раз, очень хорошо запомнил мадемуазель Н.

– Это та малютка в розовом, что скакала, как козочка? Та самая, о чьих ножках вы так много толковали, Шатофор?

– А, вы толковали о ее ножках? – вскричал Шаверни. – Но знаете: если вы слишком много будете об этом толковать, вы поссоритесь с вашим генералом, герцогом де Ж.! Берегитесь, приятель!

– Ну я думаю, он не так ревнив, чтобы запрещать смотреть на ее ножки в бинокль.

– Наоборот! Он так ими гордится, будто это он их открыл. Что скажете, майор Перен?

– Я понимаю толк только в лошадиных ногах, – скромно ответил старый вояка.

– Они в самом деле изумительны! – продолжал Шаверни. – Равных им нет в Париже, разве только...

Он остановился и начал крутить ус с самодовольным видом, глядя на свою жену, которая покраснела до корней волос.

– Разве только у мадемуазель Д., – перебил его Шатофор, называя другую танцовщицу.

– Нет! – трагическим тоном Гамлета ответил Шаверни. – «Вы лучше на жену мою взгляните».

Жюли сделалась пунцовой от негодования. Она бросила на мужа молниеносный взгляд, в котором ясно были видны презрение и бешенство. Потом, овладев собой, она вдруг обратилась к Шатофору.

– Хорошо бы нам посмотреть дуэт из *Maometto*⁴, – произнесла она слегка дрожащим голосом. – Мне кажется, он будет вам вполне по голосу.

Шаверни не так легко было сбить с позиции.

– Знаете, Шатофор, – не унимался он, – я все хотел заказать гипсовый слепок с ног, о которых я говорю, но никак не мог добиться согласия их обладательницы.

Шатофор с живейшей радостью слушал эти нескромные разоблачения, но делал вид, что, будучи всецело занят разговором с г-жой де Шаверни о *Maometto*, ничего не слышит.

– Особа, о которой идет речь, – продолжал неумолимый супруг, – обычно страшно возмущается, когда ей отдадут должное по этому пункту, но в глубине души совсем не сердится.

⁴ «Магомет» (ит.).

Знаете, она всегда заставляет чулочного мастера снимать мерку... Не сердитесь, дорогая: я хотел сказать – мастерицу... И когда я ездил в Брюссель, она три страницы заполнила подробнейшими указаниями по поводу покупки чулок.

Он мог говорить сколько ему угодно – Жюли твердо решила ничего не слышать. Беседуя с Шатофором, она говорила с преувеличенной веселостью, своей прелестной улыбкой стараясь убедить его, что только его и слушает. Шатофор, по-видимому, тоже был всецело поглощен *Maometto*, но ни одна из нескромностей Шаверни не ускользнула от него.

После обеда занялись музыкой, г-жа де Шаверни пела с Шатофором. Как только подняли крышку фортепьяно, Шаверни исчез. Пришли новые гости, но это не помешало Шатофору переговариваться шепотом с Жюли. Выходя, он объявил Перену, что вечер не пропал даром и дела его подвинулись вперед.

Перен находил вполне естественным, что муж говорил о жениных ногах; поэтому, когда они остались с Шатофором на улице одни, он сказал проникновенным голосом:

– Как у вас хватает духа нарушать супружеское счастье? Он так любит свою прелестную жену.

Глава 5

Вот уже месяц, как Шаверни занимала мысль сделаться камер-юнкером.

Может быть, покажется удивительным, что этому тучному, любящему удобства человеку доступны были честолюбивые мечты, но у него было достаточно оправданий своему тщеславию.

– Прежде всего, – говорил он друзьям, – я очень много трачу на ложи для женщин. Получив придворную должность, я буду иметь в своем распоряжении сколько угодно даровых лож. А известно, что с помощью лож можно достигнуть чего угодно! Затем я очень люблю охотиться, и к моим услугам будут королевские охоты. Наконец, теперь, когда я не ношу мундира, я решительно не знаю, как одеваться на придворные балы; одеваться маркизом я не люблю, а камер-юнкерский мундир отлично мне пойдет.

Итак, он начал хлопотать. Ему хотелось, чтобы и жена принимала участие в этих хлопотах, но она наотрез отказалась, хотя у нее было немало влиятельных подруг. Он оказал несколько мелких услуг очень влиятельному в ту пору при дворе герцогу Г. и много ждал от его покровительства. У друга его Шатофора тоже было много полезных знакомых, и он помогал Шаверни с усердием и преданностью, которые вы тоже, может быть, встретите в жизни, если будете мужем хорошенькой женщины.

Одно обстоятельство значительно подвинуло вперед дела Шаверни, хотя и могло бы иметь для него роковые последствия. Г-жа де Шаверни достала как-то, не без некоторого труда, ложу в оперу на первое представление. В ложе было шесть мест. Муж ее после долгих переговоров вопреки своему обыкновению согласился сопровождать ее. Жюли хотела предложить одно место Шатофору; понимая, что она не может ехать в оперу с ним вдвоем, она взяла слово с мужа, что он тоже будет присутствовать на этом представлении.

Сейчас же после первого акта Шаверни вышел, оставив жену наедине со своим другом. Оба сначала хранили несколько натянутое молчание: Жюли с некоторых пор вообще чувствовала себя стесненно, оставаясь вдвоем с Шатофором, а у Шатофора были свои расчеты, и он находил уместным казаться взволнованным. Бросив украдкой взгляд на зрительный зал, он с удовольствием заметил, что бинокли многих знакомых направлены на их ложу. Он испытывал чувство удовлетворения при мысли, что большинство его друзей завидуют его счастью, по видимому, считая это счастье более полным, чем оно было в действительности.

Жюли понюхала несколько раз свой флакончик с духами и свой букет, поговорила о духоте, о спектакле, о туалетах. Шатофор слушал рассеянно, вздыхал, вертелся на стуле, поглядывая на Жюли, и снова вздыхал. Жюли начала уже беспокоиться. Вдруг он воскликнул:

– Как я жалею, что прошли рыцарские времена!

– Рыцарские времена? Почему? – спросила Жюли. – Должно быть, потому, что, по вашему мнению, к вам пошел бы средневековый костюм?

– Вы считаете меня большим фатом! – сказал он горестно и печально. – Нет, я жалею о тех временах потому, что человек смелый... тогда... мог добиться... многого. В конце концов достаточно было разрубить какого-нибудь великана, чтобы понравиться даме... Посмотрите вон на того огромного человека на балконе. Мне бы хотелось, чтобы вы приказали мне оборвать ему усы, а за это позволили сказать вам три словечка, не возбуждая вашего гнева.

– Что за вздор! – воскликнула Жюли, краснея до ушей: она сразу догадалась, какие это три словечка. – Взгляните на госпожу де Сент-Эрми. В ее возрасте – бальное платье и декольте!

– Я вижу только то, что вы не желаете меня выслушать, я давно это замечаю... Вам угодно, чтобы я молчал. Но, – прибавил он шепотом и со вздохом, – вы меня поняли...

– Нисколько, – сухо ответила Жюли. – Но куда же пропал мой муж?

Очень кстати кто-то вошел в ложу, и это вывело Жюли из неловкого положения. Шатофор не открывал рта. Он был бледен и казался глубоко взволнованным. Когда посетитель ушел, он сделал несколько незначительных замечаний относительно спектакля. Разговор прерывался долгими паузами.

Перед самым началом второго действия дверь в ложу открылась, и появился Шаверни, сопровождая молодую женщину, очень красивую и разряженную, с великолепными розовыми перьями в прическе. За ними шел герцог Г.

– Милая моя! – обратился Шаверни к жене. – Оказывается, у герцога и его дамы ужасная боковая ложа, оттуда совсем не видно декораций. Они согласились пересесть в нашу.

Жюли холодно поклонилась. Герцог Г. ей не нравился. Герцог и дама с розовыми перьями рассыпались в извинениях, опасаясь, что они стеснят. Все засуетились и стали уступать друг другу лучшие места. Во время происшедшей сумятицы Шатофор наклонился к Жюли и быстро шепнул ей:

– Ради бога, не садитесь впереди!

Жюли очень удивилась и осталась на прежнем месте. Когда все уселись, она повернулась к Шатофору и довольно строгим взглядом спросила объяснения этой загадки. Он сидел, не поворачивая головы, поджав губы, и весь его вид выражал крайнее неудовольствие. Подумав, Жюли объяснила себе совет Шатофора довольно мелкими побуждениями. Она решила, что он и во время спектакля хочет продолжать свой странный разговор шепотом, что, конечно, было бы невозможно, останься она у барьера. Переведя глаза на зрительный зал, она заметила, что многие женщины направили свои бинокли на их ложу, но ведь так бывает всегда, когда появляется новое лицо. Смотревшие шептались, пересмеивались, но что же в этом необыкновенного? Оперный театр – это маленький провинциальный городок.

Незнакомая дама наклонилась к букету Жюли и произнесла с очаровательной улыбкой:

– Какой дивный букет у вас, сударыня! Наверно, он страшно дорого стоит в это время года – по крайней мере десять франков? Но вам его преподнесли, это подарок, разумеется? Дамы никогда не покупают сами себе цветов.

Жюли широко раскрыла глаза, недоумевая, что за провинциалку ей бог послал.

– Герцог! – продолжала дама с томным видом. – А вы мне не поднесли букета!

Шаверни бросился к двери. Герцог хотел его остановить, дама тоже – ей уже расхотелось иметь букет. Жюли переглянулась с Шатофором. Взгляд ее хотел сказать: «Благодарю вас, но теперь уже поздно». Но все же она еще не разгадала, в чем дело.

Во время всего спектакля дама с перьями не в такт постукивала пальцами и вкривь и вкось толковала о музыке. Она расспрашивала Жюли, сколько стоит ее платье, ее драгоценности, выезд. Жюли еще никогда не видала подобных манер. Она решила, что незнакомка приходится какой-нибудь родственницей герцогу и только что приехала из Нижней Бретани. Когда Шаверни вернулся с огромным букетом, лучшим, чем у жены, начались бесконечные восторги, посыпались благодарности, извинения.

– Господин де Шаверни! – сказала наконец после длинной тирады провинциальная дама. – Я не лишена чувства благодарности. В доказательство «напомните мне что-нибудь вам пообещать», как говорит Потье. В самом деле, я вышью вам кошелек, когда кончу кошелек, обещанный герцогу.

Наконец опера кончилась, к большому облегчению Жюли, которой было не по себе рядом с такой странной соседкой. Герцог подал руку Жюли; Шаверни предложил свою другой даме. Шатофор с мрачным и недовольным видом шел за Жюли, смущенно раскланиваясь со знакомыми, которые ему встречались на лестнице.

Мимо них прошли женщины. Жюли где-то их уже видала. Какой-то молодой человек шепнул им что-то, посмеиваясь; они с живейшим любопытством посмотрели на Шаверни и его жену, и одна из них воскликнула:

– Да не может быть!

Герцогу подали карету, он поклонился г-же де Шаверни, с жаром поблагодарив еще раз за ее любезность. Шаверни захотел проводить незнакомку до герцогской кареты, и на минуту Жюли с Шатофором остались одни.

– Кто эта женщина? – спросила Жюли.

– Я не могу вам этого сказать... это слишком необыкновенно.

– Как?

– В конце концов все, кто вас знает, сумеют разобраться, в чем дело... Но Шаверни!... Этого я от него не ожидал.

– Но что все это значит? Ради бога, скажите! Кто она?

Шаверни шел уже обратно. Шатофор, понизив голос, сказал:

– Любовница герцога Г., Мелани Р.

– Боже! – воскликнула Жюли, посмотрев на Шатофора с изумлением. – Этого не может быть!

Шатофор пожал плечами и, провожая ее к карете, добавил:

– Это же самое говорили и дамы, которых мы встретили на лестнице. Для своего разряда это еще вполне приличная женщина. Она требует внимания, почтительности... У нее даже есть муж.

– Милочка! – сказал Шаверни веселым голосом. – Вы отлично можете доехать домой без меня. Спокойной ночи! Я еду ужинать к герцогу.

Жюли молчала.

– Шатофор! – продолжал Шаверни. – Не хотите ли поехать со мной к герцогу? Мне только что сказали, что вы тоже приглашены. Вас заметили. Вы произвели впечатление, плутишка.

Шатофор холодно поблагодарил и простился с г-жой де Шаверни, которая закусила платок от негодования, когда карета тронулась.

– Ну, милый, – обратился к нему Шаверни, – по крайней мере хоть подвезите меня в вашем кабриолете до дверей этой инфанты.

– Охотно, – ответил весело Шатофор. – Кстати, вы знаете, что жена ваша в конце концов поняла, с кем она сидела рядом?

– Не может быть!

– Уверяю вас. И это не очень хорошо с вашей стороны.

– Пустяки! Она держит себя вполне прилично. И потом, еще мало кто ее знает. Герцог бывает с ней всюду.

Глава 6

Госпожа де Шаверни провела очень беспокойную ночь. Поведение ее мужа в опере превзошло все его проступки и, как ей показалось, требовало немедленного разрыва. Завтра же она с ним объяснится и заявит, что не намерена более оставаться под одной крышей с человеком, так жестоко ее скомпрометировавшим. Однако объяснение это ее пугало. До сих пор неудовольствие ее выражалось лишь в том, что она дулась, на что Шаверни не обращал ни малейшего внимания; предоставив жене своей полную свободу, он не допускал мысли, чтобы она могла отказать ему в снисходительности, которую в случае нужды он готов был проявить по отношению к ней. Всего больше она боялась, что во время объяснения она расплачется и Шаверни припишет эти слезы оскорбленному чувству любви. Вот когда она пожалела, что подле нее нет матери, которая могла бы дать ей хороший совет или взять на себя заявление о разрыве. От всех этих мыслей она пришла в сильнейшее замешательство и, засыпая, решила посоветоваться с одной из своих замужних подруг, которая знала ее с ранней юности, и довериться ее благоразумию в вопросе о том, как вести себя с Шаверни.

Вся во власти негодования, она невольно сравнила своего мужа с Шатофором. Чудовищная бестактность первого оттеняла деликатность второго, и г-жа де Шаверни не без удовольствия, за которое она, впрочем, упрекнула себя, отметила, что влюбленный заботился о ее чести больше, чем муж. Сравнивая их нравственные качества, она, естественно, пришла к мысли о том, насколько изящны манеры Шатофора и до чего непривлекателен весь облик Шаверни. Она живо представляла себе мужа с его брюшком, грузно суется около любовницы герцога Г., между тем как Шатофор, еще более почтительный, чем обычно, казалось, старался поддержать уважение к ней со стороны света, которое муж готов был разрушить. Наконец – а ведь мысли могут завести нас далеко помимо нашей воли, – она представляла себе, что может овдоветь, и тогда ничто не помешает ей, молодой и богатой женщине, законным образом увенчать любовь и постоянство юного командира эскадрона. Неудачный опыт не есть еще довод против брака вообще, и если привязанность Шатофора искренняя... Но она гнала эти мысли, заставлявшие ее краснеть, и давала себе слово быть с ним еще сдержаннее, чем раньше.

Она проснулась с ужасной головной болью и еще менее, чем накануне, подготовленной к решительному объяснению. Она не пожелала выйти к завтраку из страха встретиться с мужем, велела подать чай к себе в комнату и заказала экипаж, чтобы поехать к г-же Ламбер, своей приятельнице, с которой она хотела посоветоваться. Дама эта находилась в то время в своем поместье в П.

За завтраком Жюли развернула газету. Первое, что попало ей на глаза, было следующее:

Г-н Дарси, первый секретарь французского посольства в Константинополе, позавчера прибыл в Париж с дипломатической почтой. Сразу же по своем прибытии молодой дипломат имел продолжительную беседу с его превосходительством министром иностранных дел.

– Дарси в Париже! – воскликнула она. – Я бы с удовольствием его повидала. Изменился ли он? Наверно, стал очень чопорным? «Молодой дипломат»! Дарси – молодой дипломат.

Она не могла удержаться от смеха при словах «молодой дипломат».

Этот Дарси в свое время часто посещал вечера г-жи де Люсан. Тогда он был атташе при министерстве иностранных дел. Из Парижа он уехал незадолго до замужества Жюли, и с тех пор они не видались. Она знала только одно – что он много путешествовал и быстро получил повышение.

Она еще держала газету в руках, когда в комнату вошел муж. По-видимому, он был в прекраснейшем настроении. Увидев его, она поднялась и хотела выйти. Но для того, чтобы попасть в будуар, нужно было пройти мимо него; поэтому она продолжала стоять на месте, но так волновалась, что рука ее, опиравшаяся на чайный столик, заметно дрожала и фарфоровый сервиз дребезжал.

– Дорогая моя! – сказал Шаверни. – Я пришел проститься с вами на несколько дней. Я еду на охоту к герцогу Г. Могу сообщить вам, что он в восторге от вашей вчерашней любезности. Дела мои идут хорошо, и он обещал похлопотать обо мне перед королем самым настойчивым образом.

Слушая его, Жюли то бледнела, то краснела.

– Герцог Г. только исполняет свой долг по отношению к вам, – сказала она дрожащим голосом. – Меньше нельзя сделать для человека, который так скандально компрометирует свою жену с любовницами своего покровителя.

Потом, сделав над собой огромное усилие, она величественной походкой прошла через комнату в свой будуар и громко захлопнула за собой дверь.

Шаверни с минуту постоял, смущенно потупившись. «Черт побери, откуда она знает? – подумал он. – Но, в конце концов, не все ли равно? Что сделано, то сделано!» И так как не в его правилах было долго задерживаться на непонятной мысли, он сделал пируэт, взял из сахарницы кусочек сахара и, положив его в рот, крикнул вошедшей горничной:

– Передайте жене, что я пробуду у герцога дней пять и пришлю ей дичи!

Шаверни вышел из дому, ни о чем другом не думая, как о фазанах и диких козах, которых он собирался настрелять.

Глава 7

Жюли поехала в П., вдвойне рассерженная на мужа. Вторая причина ее неудовольствия была довольно пустой. Он велел заложить себе новую коляску, чтобы отправиться в замок к герцогу Г., а жене оставил другой экипаж, требовавший, по словам кучера, починки.

По дороге г-жа де Шаверни обдумала, как она расскажет г-же Ламбер о своем приключении. Несмотря на свое горе, она предвкушала удовольствие, которое испытывает всякий рассказчик, когда он хорошо рассказывает свою историю; она готовилась к повествованию, подыскивая вступление и пробуя начать то так, то этак. В результате этого поступок мужа предстал перед нею во всем его безобразии, и чувство обиды у нее соответственно возросло.

Всем известно, что от Парижа до П. более четырех миль, и как бы длинен ни был обвинительный акт, составленный г-жой де Шаверни, даже при жгучей ненависти невозможно столько времени думать об одном и том же. К негодованию, вызванному провинностью мужа, стали примешиваться нежные меланхолические воспоминания: такова уж странная способность человеческого ума связывать иногда с тягостными впечатлениями ласкающие образы.

Чистый и холодный воздух, ясное солнце, беззаботные лица прохожих также способствовали тому, что ее раздражение рассеялось. На память ей пришли картины детства, когда она гуляла за городом со своими юными сверстницами. Ей живо представились монастырские подруги, их игры, трапезы. Теперь ей понятны были те таинственные признания, которые случайно доносились до ее слуха от старших учениц, и она невольно улыбнулась, подумав, как рано в сотне мелких черточек сказывается природная склонность женщин к кокетству.

Потом она представила себе свой выезд в свет. Она заново переживала самые блестящие из балов, на которых она бывала в первый год после выхода из монастыря. Остальные балы она забыла: пресыщение наступает так быстро! Эти первые балы напомнили ей о муже. «Какая я была глупая! – подумала она. – Как с первого взгляда не поняла я, что буду с ним несчастлива?» Все нелепости, все бестактности, которые бедный Шаверни за месяц до свадьбы совершил в качестве жениха с таким апломбом, сохранились в ее памяти, все было тщательно запротоколировано. В то же время она не могла отогнать мысль о том, скольких поклонников ее замужество повергло в отчаяние, хотя это не помешало им в скором времени жениться или утешиться другим способом.

«Была ли бы я счастлива с другим? – задавала она себе вопрос. – А., разумеется, глуп, но он безобиден, и Амели вертит им, как хочет. С послушным мужем всегда можно ужиться. У Б. есть любовницы, и жена его по своей наивности огорчается. Вот дурочка! В конце концов, он с нею чрезвычайно почтителен, и... я этим вполне бы удовлетворилась. Молодой граф С., который целый день занят чтением памфлетов и старается стать со временем хорошим депутатом, мог бы, пожалуй, оказаться хорошим мужем. Да, но все эти господа скучны, безобразны, глупы...» В то время, как она перебирала в памяти всех молодых людей, которых знавала еще девушкой, фамилия Дарси вторично пришла ей на ум.

В свое время в кружке г-жи де Люсан Дарси не пользовался большим весом, так как было известно – известно мамашам, – что отсутствие состояния не позволяет ему иметь виды на их дочерей. Что касается самих дочерей, то они не видели в его внешности, хотя и привлекательной, ничего, что могло бы вскружить их молодые головы. Впрочем, репутацией он пользовался прекрасной. Он был слегка мизантроп, обладал едким умом; ему доставляло удовольствие, сидя в кругу барышень, смеяться над комичностью и претенциозностью остальных молодых людей. Когда он говорил вполголоса с какой-нибудь из девиц, мамыши не беспокоились, так как дочери громко смеялись, а мамыши тех девиц, у которых были хорошие зубы, даже находили г-на Дарси весьма приятным молодым человеком.

Общность вкусов, а также боязнь попасться друг другу на зубок сблизили Жюли и Дарси. После нескольких стычек они заключили мирный договор, наступательный и оборонительный союз. Друг друга они щадили, но всегда были заодно, когда являлся повод высмеять кого-нибудь из знакомых.

Как-то на вечер Жюли попросили что-нибудь спеть. У нее был хороший голос, и она это знала. Подойдя к фортепьяно, она, перед тем как петь, обвела женщин горделивым взглядом, словно посылая им вызов. Но как раз в этот вечер, по нездоровью ли, по несчастной ли случайности, она оказалась не в голосе. Первая же нота, вылетевшая из ее обычно столь певучего, мелодичного горлышка, была положительно фальшивой. Жюли смутилась и пропела все из рук вон плохо, ни один из пассажей ей не удался – словом, провал был скандальный. Смешавшись и чуть не плача, Жюли отошла от фортепьяно; возвращаясь на свое место, она не могла не заметить плохо скрытое злорадство на лицах своих подруг при виде ее униженной гордости. Даже мужчины, казалось, с трудом сдерживали насмешливую улыбку. От стыда и гнева она опустила глаза и некоторое время не решалась ни на кого взглянуть. Первое дружелюбное лицо, которое она увидела, подняв голову, было лицо Дарси. Он был бледен, глаза были наполнены слезами: казалось, он был огорчен ее неудачей больше, чем она сама. «Он любит меня! – подумала она. – Он искренне меня любит». Она не спала почти всю ночь, и все время у нее перед глазами стояло печальное лицо Дарси. Целых два дня она думала о нем и о тайной страсти, которую, очевидно, он к ней питает. Роман уже начинал развиваться, как вдруг г-жа де Люсан нашла у себя визитную карточку Дарси с тремя буквами: *Р. Р. С.*

– Куда же Дарси едет? – спросила Жюли у одного молодого человека, его знакомого.

– Куда он едет? Разве вы не знаете? В Константинополь. Он отправляется сегодня вечером в качестве дипломатического курьера.

«Значит, он меня не любит!» – подумала Жюли. Через неделю Дарси был забыт. Но сам Дарси, который в то время был настроен довольно романтически, месяцев восемь не мог забыть Жюли.

Чтобы извинить Жюли и понять удивительную разницу в степени их постоянства, нужно принять во внимание, что Дарси жил среди варваров, между тем как Жюли осталась в Париже, окруженная поклонением и удовольствиями.

Как бы то ни было, через шесть или семь лет после их разлуки Жюли в своей карете по дороге в П. припомнила грустное выражение лица Дарси в тот вечер, когда она так неудачно пела. И, нужно признаться, ей даже пришло на ум, что, вероятно, он в то время любил ее. Все это в течение некоторого времени занимало ее достаточно живо, но, проехав с полмили, она в третий раз позабыла о Дарси.

Глава 8

Жюли не на шутку огорчилась, когда сразу же по прибытии в П. увидела, что во дворе г-жи Ламбер стоит какой-то экипаж, из которого выпрягают лошадей: это означало, что здесь находятся посетители, которые не собираются скоро уезжать. Следовательно, невозможно было поговорить об обиде, причиненной ей мужем.

Когда Жюли входила в гостиную, у г-жи Ламбер сидела дама, с которой Жюли встречалась в обществе, не зная ее имени. Ей стоило некоторого труда скрыть свою досаду на то, что она зря приехала в П.

– Ну вот наконец-то, красавица моя! – вскричала г-жа Ламбер, обнимая ее. – Как я рада, что вы не забыли меня! Приехали вы необыкновенно кстати: я жду сегодня много гостей, и все они от вас без ума.

Жюли ответила несколько принужденно, что она рассчитывала застать г-жу Ламбер одну.

– Они будут страшно рады вас видеть, – продолжала г-жа Ламбер. – С тех пор как дочь вышла замуж, в доме у меня стало так уныло, что я бываю счастлива, когда моим друзьям приходит в голову мысль собраться у меня. Но, дитя мое, куда девался ваш прекрасный цвет лица? Вы сегодня ужасно бледны.

Жюли решила солгать: длинная дорога, пыль, солнце...

– Как раз сегодня у меня обедает один из ваших поклонников, для которого ваш приезд будет приятной неожиданностью: господин де Шатофор. С ним будет, по всей вероятности, его верный Ахат, майор Перен.

– Недавно я имела удовольствие принимать у себя майора Перена, – ответила Жюли и покраснела, так как думала она о Шатофоре.

– Будет также господин де Сен-Леже. Через месяц он непременно должен устроить у меня вечер драматических пословиц, и вы, мой ангел, будете в нем участвовать. Два года тому назад вы во всех пословицах играли у нас главные роли.

– Ах, я так давно не участвовала в пословицах, что потеряла прежнюю уверенность! Мне придется прибегнуть к помощи суфлера.

– Жюли, дитя мое! Знаете, кого мы еще ждем! Но только, дорогая, нужно иметь хорошую память, чтобы вспомнить его имя.

Жюли сейчас же пришла на ум фамилия Дарси.

«Он меня неотступно преследует», – подумалось ей.

– Хорошую память? У меня память неплохая.

– Да, но нужно вспомнить то, что было лет шесть-семь назад. Вам не припоминается один из ваших поклонников, когда вы были еще подростком и носили гладкую прическу?

– Признаться, не догадываюсь.

– Какой ужас, дорогая!.. Совсем забыть очаровательного человека, который, если я не ошибаюсь, в свое время вам так нравился, что это даже тревожило вашу матушку! Ну, нечего делать, дорогая: раз вы забываете своих вздыхателей, придется вам их напомнить. Вы увидите сегодня господина Дарси.

– Дарси?

– Да. Несколько дней тому назад он наконец вернулся из Константинополя. Третьего дня он был у меня с визитом, и я его пригласила. А знаете ли вы, неблагодарное существо, с каким интересом он расспрашивал о вас? Это неспроста.

– Господин Дарси? – повторила Жюли с запинкой и напускной рассеянностью. – Господин Дарси?.. Это тот высокий блондин... секретарь посольства?

– Вы его не узнаете, дорогая, так он переменялся. Теперь он бледен, или, скорее, оливкового цвета, глаза впали, волосы заметно поредели – от сильной жары, по его словам. Если будет так продолжаться, года через два-три он совсем облысеет. А между тем ему нет еще тридцати.

Дама, при которой велся этот разговор о неприятности, постигшей Дарси, усиленно стала рекомендовать калидор, который очень ей помог, когда после болезни у нее начали выпадать волосы. Говоря это, она проводила пальцами по своим пышным локонам прекрасного пепельно-русого цвета.

– И все это время Дарси провел в Константинополе? – спросила г-жа де Шаверни.

– Не все, он много путешествовал. Он был в России, потом объездил всю Грецию. Вы еще не знаете, как ему повезло. У него умер дядюшка и оставил ему большое состояние. Побывал он также и в Малой Азии... в этой, как ее... в Карамании. Он прелестен, дорогая. Он рассказывает очаровательные истории – вы будете в восторге. Вчера он рассказывал мне такие интересные вещи, что я все время говорила: «Приберегите их на завтра, вы их расскажете всем дамам, вместо того чтобы тратить их на такую старуху, как я».

– А он рассказывал вам, как он спас турчанку? – спросила г-жа Дюмануар, рекомендовавшая калидор.

– Он спас турчанку? Разве он спас турчанку? Он мне об этом ни слова не говорил.

– Но ведь это замечательный поступок, настоящий роман.

– О, расскажите нам, пожалуйста!

– Нет, нет, попросите его самого. Я знаю об этой истории только от сестры, муж которой, как вам известно, был когда-то консулом в Смирне. А ей это рассказывал один англичанин, очевидец происшествия. Прямо удивительно!

– Расскажите нам эту историю. Неужели вы думаете, что мы будем дожидаться обеда? Ведь это ужасно, когда говорят о какой-нибудь истории, о которой сама ничего не знаешь.

– Ну хорошо, только я расскажу ее очень плохо. Во всяком случае, я передаю то, что слышала. Дарси находился в Турции, исследовал какие-то развалины на берегу моря. Вдруг он видит, что к нему направляется мрачная процессия. Черные немые рабы несли мешок, который шевелился, как будто в нем было что-то живое...

– Боже мой! – вскричала г-жа Ламбер, читавшая *Гяура*. – Эту женщину собирались бросить в море?

– Совершенно верно, – продолжала г-жа Дюмануар, раздосадованная тем, что пропал самый эффектный момент рассказа. – Дарси смотрит на мешок, слышит глухой стон и сразу же угадывает ужасную правду. Он спрашивает у немых рабов, что они собираются делать, – те вместо всякого ответа обнажают кинжалы. К счастью, Дарси был хорошо вооружен. Он обращает в бегство невольников и освобождает, наконец, из этого отвратительного мешка женщину восхитительной красоты, в полубморочном состоянии. Он отвозит ее в город и помещает в надежный дом.

– Бедняжка! – произнесла Жюли, которую эта история уже начала интересовать.

– Вы думаете, что этим все кончилось? Ничуть не бывало. Муж ее, ревнивый, как все мужья, подстрекает толпу, она бросается к жилищу Дарси с факелами, чтобы сжечь его живьем. Я не знаю точно, что случилось потом. Знаю только, что он выдержал форменную осаду и в конце концов поместил женщину в надежное место. По-видимому, – добавила г-жа Дюмануар, сразу изменив выражение лица и гнусава, как настоящая ханжа, – по-видимому, Дарси позаботился о том, чтобы ее обратили в истинную веру, и она крестилась.

– И Дарси на ней женился? – спросила Жюли с улыбкой.

– Этого я не могу вам сказать. Но турчанка – у нее было странное имя, она звалась Эминэ – воспылала страстью к Дарси. Сестра передавала мне, что она иначе не называла его, как «сотир»... «Сотир» по-турецки или по-гречески значит «спаситель». По словам Элали, это была одна из красивейших женщин на свете.

– Мы ему зададим за эту турчанку! – воскликнула г-жа Ламбер. – Правда, нужно его немного помучить?.. В конце концов поступок Дарси меня нисколько не удивляет: он один из самых великодушных людей, каких я знаю, о некоторых его поступках я не могу вспоминать без слез. После смерти его дяди осталась незаконная дочь, которую тот не хотел признавать. Завещания сделано не было, так что она не имела никаких прав на наследство. Дарси, будучи единственным наследником, решил выделить ей часть наследства и уж, конечно, отдал ей гораздо больше, чем сделал бы это сам дядя.

– Что же, она была хорошенькая, эта незаконная дочь? – спросила г-жа де Шаверни не без злости.

Ей хотелось сказать что-нибудь дурное о Дарси, мысль о котором не давала ей покоя.

– Ах, дорогая, как вам могло прийти в голову?.. К тому же, когда дядя его умирал, Дарси был еще в Константинополе и, по всей вероятности, никогда в жизни не видел этой особы.

Тут вошли Шатофор, майор Перен и несколько других лиц, и это положило конец разговору. Шатофор сел рядом с г-жой де Шаверни и, выбрав минуту, когда все громко говорили, спросил:

– Вы, кажется, грустите, сударыня? Я был бы крайне огорчен, если бы сказанное мною вчера оказалось тому причиной.

Госпожа де Шаверни не слышала его слов или, скорее, не пожелала слышать. Шатофор был вынужден, к своему неудовольствию, повторить всю фразу, и еще большее неудовольствие он испытал, получив суховатый ответ, а Жюли сейчас же приняла участие в общем разговоре. Затем она пересела на другое место, оставив своего несчастного поклонника.

Не теряя присутствия духа, Шатофор блистал остроумием, но понапрасну. Понравиться он хотел одной г-же де Шаверни, но она слушала его рассеянно: она думала о скором появлении Дарси, спрашивая себя, почему ее так занимает человек, которого она должна была бы уже забыть и который, вероятно, сам ее давно позабыл.

Наконец послышался стук подъезжающей кареты; дверь в гостиную отворилась.

– Вот и он! – воскликнула г-жа Ламбер.

Жюли не решилась повернуть голову, но страшно побледнела. Она внезапно испытала острое ощущение холода и должна была собрать все свои силы, чтобы взять себя в руки и не дать Шатофору заметить, как изменилось выражение ее лица.

Дарси поцеловал руку г-же Ламбер и, поговорив с нею несколько минут стоя, сел около нее. Воцарилось молчание; г-жа Ламбер, казалось, ждала терпеливо, чтобы старые знакомые узнали друг друга. Шатофор и другие мужчины, исключая славного майора Перена, рассматривали Дарси с несколько ревнивым любопытством. Приехав недавно из Константинополя, он имел большое преимущество перед ними, и это было достаточно серьезной причиной, чтобы все приняли чопорный вид, как это делается обыкновенно в присутствии иностранцев. Дарси, не обратив ни на кого внимания, заговорил первый. О чем бы он ни говорил – о дороге или о погоде, – голос его был нежен и музыкален. Г-жа де Шаверни рискнула на него взглянуть; она увидела его в профиль. Ей показалось, что он похудел и что выражение лица у него стало другое. В общем, она нашла его интересным.

– Дорогой Дарси! – сказала г-жа Ламбер. – Посмотрите хорошенько вокруг: не найдете ли вы тут кое-кого из ваших старых знакомых?

Дарси повернул голову и заметил Жюли, до этой минуты скрывавшую свое лицо под полями шляпы. Он стремительно поднялся, вскрикнув от удивления, и направился к ней с протянутой рукой; потом вдруг остановился и, как бы раскаиваясь в излишней фамильярности, отвесил Жюли низкий поклон и высказал ей в пристойных выражениях, как рад он снова с нею встретиться. Жюли пролепетала несколько вежливых слов и густо покраснела, видя, что Дарси все стоит перед нею и пристально на нее смотрит.

Вскоре ей удалось овладеть собой, и она тоже взглянула на него тем как будто рассеянным и вместе наблюдательным взглядом, каким умеют, когда захотят, смотреть светские люди. Дарси был высокий бледный молодой человек; черты лица его выражали спокойствие, но это спокойствие, казалось, говорило не столько об обычном состоянии души, сколько об умении владеть выражением своего лица. Ясно обозначавшиеся морщины бороздили его лоб. Глаза впали, углы рта были опущены, волосы на висках начали редеть. А ведь ему было не более тридцати лет. Одет Дарси был просто, но элегантно, что доказывало привычку к хорошему обществу и безразличное отношение к своему туалету, который составляет предмет мучительных раздумий для стольких молодых людей. Жюли не без удовольствия сделала все эти наблюдения. Она заметила также, что на лбу у него довольно большой, плохо скрытый под прядью волос шрам, по-видимому, от сабельного удара.

Жюли сидела рядом с г-жой Ламбер. Между нею и Шатофором стоял стул, но как только Дарси поднялся с места, Шатофор положил руку на спинку этого стула и, поставив его на одну ножку, постарался удержать в равновесии. Очевидно, он имел намерение охранять его, как собака охраняет сено. Г-жа Ламбер сжалась над Дарси, который продолжал стоять перед г-жой де Шаверни. Она подвинулась на диване и освободила место для Дарси – таким образом, тот очутился рядом с Жюли. Он поспешил воспользоваться этим выгодным положением и сейчас же начал с нею более связный разговор.

Между тем со стороны г-жи Ламбер и некоторых других особ Дарси подвергся форменному допросу относительно своих странствий. Но он отделялся довольно лаконичными ответами и пользовался каждой свободной минутой, чтобы продолжать разговор с г-жой де Шаверни.

– Предложите руку госпоже де Шаверни, – сказала г-жа Ламбер Дарси, когда колокол возвестил время обеда.

Шатофор закусил губу. Но он нашел возможность сесть за стол довольно близко от Жюли, чтобы хорошенько наблюдать за нею.

Глава 9

Вечер был ясный и теплый. После обеда все вышли в сад пить кофе и расположились за круглым садовым столом.

Шатофор все больше раздражался, замечая внимательность Дарси по отношению к г-же де Шаверни. Видя, с каким увлечением она разговаривает с вновь прибывшим, он становился все менее любезным; его ревность приводила только к тому, что он утрачивал свою привлекательность. Он прохаживался по террасе, где находилось все общество, не мог оставаться на месте, как это бывает с людьми встревоженными, часто взглядывал на тяжелые тучи, грозившиеся на горизонте и предвещавшие грозу, а еще чаще на своего соперника, который тихонько беседовал с Жюли. Он видел, что она то улыбалась, то делалась серьезной, то робко опускала глаза; короче говоря, он видел, что каждое слово, произносимое Дарси, производит на нее впечатление. Особенно его огорчало, что разнообразные выражения, пробежавшие по чертам Жюли, казалось, были только отпечатком, как бы отражением подвижной физиономии Дарси. Наконец ему не под силу стало выносить эту пытку – он подошел к ней и, выбрав минуту, когда Дарси давал кому-то разъяснения насчет бороды султана Махмуда, наклонился над спинкой ее стула и произнес с горечью:

– По-видимому, сударыня, господин Дарси очень занятый человек.

– О да! – ответила г-жа де Шаверни с восхищением, которого она не могла скрыть.

– Это видно, – продолжал Шатофор, – раз из-за него вы забываете ваших старых друзей.

– Моих старых друзей? – строгим тоном спросила Жюли. – Я не понимаю, что вы хотите этим сказать.

И она отвернулась от него. Потом, взяв за кончик платок, который держала в руках г-жа Ламбер, произнесла:

– С каким вкусом вышит этот платок! Чудесная работа!

– Вы находите, дорогая? Это подарок господина Дарси; он привез мне целую кучу вышитых платков из Константинополя. Кстати, Дарси, это не ваша турчанка их вышивала?

– Моя турчанка? Какая турчанка?

– Ну да, красавица султанша, которую вы спасли и которая вас называла... о, нам все известно!.. которая вас называла... своим... ну, словом, своим спасителем. Вы отлично знаете, как это будет по-турецки.

Дарси хлопнул себя по лбу и рассмеялся.

– Каким это образом слух о моем несчастном приключении успел достигнуть Парижа?..

– Но в этом приключении не было ничего несчастного. Несчастье могло быть только для *мамамуши*, потерявшего свою фаворитку.

– Увы, – ответил Дарси, – я вижу, что вам известна только одна половина истории. На самом деле приключение это так же несчастливо для меня, как эпизод с мельницами для Дон Кихота. Мало того что я дал повод для смеха всем *франкам*, – еще и в Париже меня преследуют насмешками за единственный подвиг странствующего рыцаря, который я совершил.

– Значит, мы ничего не знаем. Расскажите! – воскликнули все дамы одновременно.

– Мне не следовало бы рассказывать, что произошло после известных вам событий, – сказал Дарси, – ибо вспоминать о конце этой истории не доставляет мне никакого удовольствия. Но один из моих друзей (я попрошу позволения представить его вам, госпожа Ламбер, – это сэр Джон Тиррел), один из моих друзей, тоже участник этой трагической пьесы, скоро придет в Париж. Возможно, что он не откажет себе в ехидном удовольствии приписать мне еще более смешную роль, чем та, какую я разыграл в действительности. Вот как было дело. Эта несчастная женщина, поселившись во французском консульстве...

– Нет, нет, расскажите все с самого начала! – воскликнула г-жа Ламбер.

– Начало вы уже знаете.

– Ничего мы не знаем, мы хотим, чтобы вы рассказали нам всю историю с начала до конца.

– Хорошо. Да будет вам известно, сударыня, что в 18... году я находился в Ларнаке. Как-то раз я отправился за город рисовать. Со мною был молодой англичанин по имени Джон Тиррел – очень милый, добродушный, любящий пожить в свое удовольствие, – такие люди незаменимы в путешествии: они заботятся об обеде, помнят о припасах и всегда бывают в хорошем расположении духа. К тому же он путешествовал без определенной цели и не занимался ни геологией, ни ботаникой – науками, довольно несносными для спутника.

Я сел в тени лачуги, шагах в двухстах от моря, над которым в этом месте высятся отвесные скалы. Я старательно зарисовал все, что осталось от античного саркофага, а сэр Джон, разлегшись на траве, издевался над моей несчастной страстью к искусству, покуривая восхитительный латакийский табак. Неподалеку от нас турецкий переводчик, которого мы взяли к себе на службу, готовил нам кофе. Из всех известных мне турок он лучше всех умел варить кофе и был самым отъявленным трусом.

Вдруг сэр Джон радостно воскликнул: «Вон какие-то люди везут с горы снег! Сейчас мы его у них купим и устроим себе шербет из апельсинов».

Я поднял глаза и увидел, что к нам приближается осел с перекинутым через его спину огромным тюком; двое невольников поддерживали этот тюк с обеих сторон. Впереди осла шел погонщик, а замыкал шествие почтенный седобородый турок, ехавший верхом на довольно хорошей лошади. Вся эта процессия подвигалась медленно, с большой важностью.

Наш турок, не переставая раздувать огонь, бросил искоса взгляд на поклажу и сказал нам со странной улыбкой: «Это не снег». Затем он с присущей ему флегматичностью продолжал заниматься нашим кофе.

«Что же это такое? – спросил Тиррел. – Что-нибудь съедобное?»

«Для рыб», – ответил турок.

В эту минуту всадник пустил лошадь в галоп; направляясь к морю, он проехал мимо нас, не преминув бросить на нас презрительный взгляд, каким обычно мусульмане глядят на христиан. Доскакав до отвесных скал, о которых я упомянул, он внезапно остановился у самого обрывистого места. Он принялся смотреть на море, словно выбирая место, откуда бы броситься.

Тогда сэр Джон и я стали внимательно присматриваться к мешку, навьюченному на осла, и были поражены его необычайной формой. Нам тотчас же припомнились всевозможные истории о женах, утопленных ревнивыми мужьями. Мы обменялись своими соображениями.

«Спроси у этих негодяев, – сказал сэр Джон нашему турку, – не женщину ли они везут».

Турок от ужаса раскрыл глаза, но не рот. Было очевидно, что вопрос наш он считал совершенно неприличным.

В эту минуту мешок поравнялся с нами; мы явственно увидели, что в нем что-то шевелится, и даже слышали что-то вроде стонов или ворчанья, доносившихся из него.

Хотя Тиррел и любил поест, он был не чужд рыцарских чувств. Он вскочил, как бешеный, подбежал к погонщику и спросил у него по-английски (так он забылся от гнева), что он везет и что намерен делать со своей поклажей. Погонщик и не подумал отвечать, но в мешке что-то забарахталось и раздались женские крики. Тогда два невольника принялись бить по мешку ремнями, которыми они погоняли осла. Тиррел окончательно вышел из себя. Сильным ударом кулака он по всем правилам искусства сбил погонщика с ног и схватил одного из невольников за горло; в этой потасовке мешок сильно толкнули, и он грузно упал на траву.

Я бросился к месту происшествия. Другой невольник принялся собирать камни; погонщик поднялся. Я терпеть не могу вмешиваться в чужие дела, но нельзя было не прийти на помощь моему спутнику. Схватив кол, на котором во время рисования был укреплен мой зон-

тик, я стал им размахивать, угрожая невольникам и погонщику с самым воинственным видом, какой только мог принять. Все шло хорошо, как вдруг этот проклятый конный турок, перестав созерцать море, обернулся на шум, который мы производили, помчался, как стрела, и напал на нас, прежде чем мы к этому приготовились; в руках у него было нечто вроде гнutoго тесака.

– Ятаган? – перебил рассказчика Шатофор, любивший местный колорит.

– Ятаган, – продолжал Дарси, одобрительно улыбувшись. – Он проскакал мимо меня и хватил меня этим ятаганом по голове так, что у меня из глаз посыпались искры. Тем не менее я не остался в долгу и огрел его колом по пояснице, а затем стал орудовать тем же колом, что было силы колотя по погонщику, невольникам, лошади и турку, взбешенный не хуже друга моего, сэра Джона Тиррела. Дело, несомненно, кончилось бы для нас плохо. Переводчик наш сохранял нейтралитет, а мы не могли долгое время защищаться одной палкой против трех пеших, одного конного и одного ятагана. К счастью, сэр Джон вспомнил о двух имевшихся у нас пистолетах. Он вытащил их, бросил один мне, другой взял себе и сейчас же направил его на всадника, так нам досаждавшего. Вид этого оружия и легкое щелканье курка произвели магическое действие на наших противников. Они позорно бежали, оставя нам и поле битвы, и мешок, и даже осла. Несмотря на то что мы были очень раздражены, мы не стреляли, и хорошо сделали, так как нельзя безнаказанно убить доброго мусульманина, даже поколотить его, и то стоит недешево.

Как только я отер кровь, мы первым делом, как вы можете себе представить, подошли к мешку и развязали его. Мы нашли в нем довольно хорошенькую женщину, полненькую, с прекрасными черными волосами, в одной рубашке из синей шерстянки, немного менее прозрачной, чем шарф госпожи де Шаверни.

Она проворно выскочила из мешка и без особого смущения обратилась к нам с речью, несомненно, очень патетической, из которой, однако, мы не поняли ни слова; в заключение она поцеловала мне руку. Это единственный раз, сударыни, я удостоился такой чести от дамы.

Меж тем хладнокровие к нам вернулось. Мы увидели, что переводчик наш в отчаянии терзает свою бороду. Я, как мог, перевязал себе голову носовым платком, Тиррел говорил: «Что же нам делать с этой женщиной? Если мы здесь останемся, муж явится с подкреплением и укокошит нас, а если мы возвратимся в таком виде с нею в Ларнак, чернь забросает нас камнями».

Все эти соображения ставили Тиррела в тупик, и он воскликнул, вновь обретя свою британскую флегматичность: «И какого черта отправились вы сегодня рисовать!»

Восклицание это заставило меня рассмеяться; женщина, ничего не понимая, тоже стала смеяться.

Однако нужно было на что-нибудь решиться. Я подумал, что лучшее, что мы могли сделать, – это отдать себя под покровительство французского вице-консула, но труднее всего было вернуться в Ларнак. Начинало темнеть, и обстоятельство это было для нас благоприятно. Наш турок повел нас далеко в обход, и благодаря сумеркам и вышеуказанной предосторожности мы беспрепятственно достигли консульского дома, находившегося за чертой города. Я забыл сказать вам, что при помощи мешка и чалмы нашего переводчика мы соорудили для женщины почти благопристойный костюм.

Консул принял нас очень плохо, сказал, что мы сошли с ума, что следует уважать нравы и обычаи страны, по которой путешествуешь, и не соваться не в свое дело. Одним словом, он нас разбил на все корки и имел на то основание, так как из-за нашего проступка могло вспыхнуть большое восстание и все франки, находившиеся на острове Кипр, могли быть перерезаны.

Жена его оказалась более человечной; она начиталась романов и находила наше поведение необыкновенно великодушным. И правда, мы вели себя, как герои романа. Эта превосходнейшая дама была очень благочестива: она решила, что ей не будет стоить большого труда обратить басурманку, которую мы к ней доставили, что об обращении этом будет упомянуто в

«*Монитере*» и муж ее получит место генерального консула. Весь этот план возник у нее мгновенно. Она поцеловала турчанку, дала ей свое платье, пристыдила вице-консула за его жестокосердие и послала его к паше улаживать дело.

Паша был в сильном гневе. Ревнивый муж, который был человеком видным, метал громы и молнии. Он находил возмутительным, что христианские собаки помешали такому человеку, как он, бросить свою невольницу в море. Вице-консул находился в большом затруднении; он много говорил о короле, своем повелителе, и еще больше о некоем фрегате с шестьюдесятью пушками, только что прибывшем в ларнакские воды. Но доводом, произведшим наибольшее впечатление, было предложение, сделанное им от нашего имени, – заплатить за невольницу сполна.

Увы, если б вы только знали, что у турок значит *сполна*! Нужно было заплатить мужу, паше, погонщику, которому Тиррел выбил два зуба, заплатить за скандал, заплатить за все. Сколько раз Тиррел горестно восклицал: «И какого черта отправились вы рисовать на берег моря!»

– Вот так приключение! Бедняжка Дарси! – воскликнула г-жа Ламбер. – Там-то вы и получили этот ужасный шрам? Пожалуйста, приподымите волосы. Удивительно, как еще турок не раскроил вам голову!

Во время этого рассказа Жюли не отводила глаз от лба рассказчика. Наконец она робко спросила:

– А что случилось с женщиной?

– Эту часть истории я как раз меньше всего люблю рассказывать. Продолжение было для меня столь печальным, что до сих пор все еще смеются над нашим рыцарским подвигом.

– Эта женщина была хороша собой? – спросила, немного покраснев, г-жа де Шаверни.

– Как ее звали? – спросила г-жа Ламбер.

– Ее звали Эминэ. Хороша собой?.. Да, пожалуй, но слишком толста и, по обычаю страны, вся вымазана румянами и белилами. Чтобы оценить прелесть турецких красавиц, нужно к ним привыкнуть. Итак, Эминэ водворилась в доме вице-консула. Она была родом из Мингрелии и сообщила госпоже С., жене консула, что она дочь князя. В ее стране всякий негодяй, у которого под началом находится десяток других негодяев, называется князем. Обращались с ней как с княжной; обедала она со всеми, ела за четверых, а когда с ней начинали беседовать о религии, она неукоснительно засыпала. Так продолжалось некоторое время. Наконец был назначен день крещения. Госпожа С. вызвалась быть крестной матерью и пожелала, чтобы я был крестным отцом. Конфеты, подарки, словом, все, что полагается... Несчастной этой Эминэ на роду было написано разорить меня. Госпожа С. уверяла, что Эминэ любит меня больше, чем Тиррела, потому что, подавая кофе, она всегда проливала его мне на платье. Я приготовился к церемонии с чисто евангельским смиренномудрием, как вдруг накануне назначенного дня прекрасная Эминэ исчезла. Расскажу вам все начистоту. У консула был повар мингрелец, конечно, отъявленный негодяй, но он удивительно умел готовить пилав. Мингрелец этот понравился Эминэ, которая, несомненно, была в своем роде патриоткой. Похитив ее, он прихватил довольно большую сумму денег у С. Найти его не удалось. Итак, вице-консул заплатил своими деньгами, госпожа С. – нарядами, которые она подарила Эминэ, а я – расходами на перчатки и конфеты, не считая полученных ударов. Хуже всего то, что на меня взвалили ответственность за это приключение. Уверяли, что именно я освободил эту дрянную женщину, которую я теперь охотно бросил бы на дно моря и которая навлекла на моих друзей столько неприятностей. Тиррел сумел выпутаться из истории: его сочли за жертву, между тем как он-то и был единственным виновником всей кутерьмы, а я остался с репутацией Дон Кихота и с этим шрамом, который очень вредит моим успехам.

Рассказ был окончен, и все перешли в гостиную. Дарси поговорил некоторое время с г-жой де Шаверни, но потом вынужден был ее покинуть, так как ему хотели представить некоего

весьма сведущего в политической экономии молодого человека, который собирался по окончании учения стать депутатом и желал получить статистические сведения об Оттоманской империи.

Глава 10

С той минуты, как Дарси отошел от Жюли, она все время посматривала на часы. Она рассеянно слушала, что говорил Шатофор, и невольно искала глазами Дарси, разговаривавшего на другом конце гостиной. Иногда, не прерывая своей беседы с любителем статистики, он взглядывал на нее, и ей трудно было выдерживать его спокойный, но пронизательный взгляд. Она чувствовала, что он уже приобрел какую-то необыкновенную власть над нею, и не в силах была противиться этому.

Наконец она велела подать экипаж, и, отдавая приказание, то ли будучи слишком занята своими мыслями, то ли преднамеренно, посмотрела на Дарси так, словно хотела сказать ему: «Вы потеряли полчаса, которые мы могли бы провести вместе». Карета была подана. Дарси продолжал разговаривать, но, казалось, был утомлен бесконечными вопросами не отпускавшего его собеседника. Жюли медленно поднялась, пожала руку г-же Ламбер, затем направилась к выходу, удивленная, почти раздосадованная тем, что Дарси не двинулся с места. Шатофор находился около нее; он предложил ей руку, она машинально оперлась на нее, не слушая его, почти не замечая его присутствия.

Госпожа Ламбер и несколько человек гостей проводили ее через вестибюль до кареты. Дарси остался в гостиной. Когда она уже села в экипаж, Шатофор с улыбкой спросил ее, не страшно ли ей будет ехать ночью совсем одной, и прибавил, что, как только майор Перен кончит свою партию на бильярде, он, Шатофор, догонит ее в своем тильбюри и поедет вслед за нею. Звук его голоса вывел Жюли из задумчивости, но она ничего не поняла. Она сделала то же, что сделала бы всякая другая женщина на ее месте: она улыбнулась. Потом она кивнула на прощание собравшимся на крыльце, и лошади помчались.

Но как раз в ту минуту, когда карета тронулась, она увидела, что Дарси вышел из гостиной. Он был бледен, лицо его было печально, а глаза, устремленные на нее, словно ждали только к нему обращенного знака приветствия. Она уехала, унося с собою сожаление, что не кивнула еще раз ему одному, и даже подумала, что это его заденет. Она уже позабыла, что он предоставил другому заботу проводить ее до кареты; теперь она во всем винила себя, она рассматривала свои промахи как тяжкое преступление. Чувства, которые она несколько лет тому назад (после вечера, когда она так фальшиво пела) испытывала к Дарси, были менее живы, чем те, которые она теперь увозила с собою. Годы обострили ее впечатлительность, в сердце у нее накопилась злоба на мужа. Может быть, даже увлечение Шатофором (впрочем, в данную минуту совершенно позабытое) приготовило ее к тому, чтобы без особых угрызений совести отдаться более сильному чувству, которое вызвал у нее Дарси.

А у Дарси мысли были менее тревожные. Он с удовольствием встретил женщину, с которой у него были связаны счастливые воспоминания; знакомство с нею будет, по всей вероятности, очень приятно, и он будет его поддерживать в течение зимы, которую он собирался провести в Париже. Но как только она уехала, у него осталось лишь воспоминание о нескольких весело проведенных часах, воспоминание, сладость которого к тому же ослаблялась перспективой поздно лечь спать и необходимостью проехать четыре мили, чтобы добраться до постели. Предоставим его, охваченного такими прозаическими мыслями, собственной участи. Пусть он старательно кутается в свой плащ, устраивается поудобнее в углу наемной кареты, пусть мысли его переходят от салона г-жи Ламбер к Константинополю, от Константинополя к Корфу, от Корфа к полудремоте.

Любезный читатель! Если вы ничего не имеете против, последуем за г-жой де Шаверни.

Глава 11

Когда г-жа де Шаверни покинула замок г-жи Ламбер, ночь была ужасно темная, воздух тяжелый и удушливый, время от времени молнии озаряли окрестность, и черные силуэты деревьев вырисовывались на желто-буром фоне. После каждой вспышки молнии темнота усиливалась, и кучер не видел лошадиных голов. Вскоре разразилась бешеная гроза.

Дождь, который падал сначала редкими крупными каплями, внезапно превратился в страшнейший ливень. Небо запылало со всех сторон, гром небесной артиллерии становился оглушительным. Лошади в испуге громко фыркали и поднимались на дыбы, вместо того чтобы идти вперед. Но кучер превосходно пообедал; его толстый каррик, а еще больше хорошая выпивка изгнали из него всякий страх перед непогодой и плохой дорогой. Он хлестал бедных животных, в неустрашимости не уступая Цезарю, когда тот в бурю говорил своему кормчему: «Ты везешь Цезаря и его счастье».

Госпожа де Шаверни грома не боялась, и гроза почти не занимала ее. Она вспоминала все, что говорил ей Дарси, и раскаивалась, что не высказала ему того, что могла бы сказать, как вдруг размышления ее были прерваны сильным толчком, от которого качнулась карета. В то же мгновение стекла разлетелись вдребезги, раздался зловеющий треск, и карета опрокинулась в канаву. Жюли отделалась испугом. Но дождь не переставал, колесо было сломано, фонари потухли, а вокруг не было видно никакого жилья, где бы можно было найти убежище. Кучер чертыхался, лакей ругал кучера, проклиная его за неловкость. Жюли, оставаясь в карете, спрашивала, нельзя ли вернуться в П. и вообще что теперь им делать. Но на все вопросы она получала один безнадежный ответ:

– Никак невозможно.

Между тем издали донесся глухой шум приближающегося экипажа. Вскоре кучер г-жи де Шаверни, к большому своему удовольствию, узнал одного из своих приятелей, с которым он только что заложил фундамент нежной дружбы в людской г-жи Ламбер. Он крикнул, чтобы тот придержал лошадей.

Экипаж остановился. Едва было произнесено имя г-жи де Шаверни, как какой-то молодой человек сам открыл дверцы кареты и, воскликнув: «Она не разбилась?» – одним прыжком очутился у кареты Жюли. Она узнала Дарси, она его ожидала.

Руки их в темноте встретились, и Дарси почудилось, что г-жа де Шаверни пожала ему руку, но, вероятно, это было от страха. После первых вопросов Дарси, разумеется, предложил свой экипаж. Жюли не ответила: она не знала, какое решение принять. С одной стороны, если ехать в Париж, то ей предстоит сделать три или четыре мили вдвоем с молодым человеком, и это ее смущало; с другой стороны, если возвращаться в замок и просить гостеприимства у г-жи Ламбер, придется рассказать романтическое приключение с опрокинутой каретой и Дарси, явившимся ей на помощь; при мысли об этом ее бросало в дрожь. Снова появиться в гостиной в разгар виста в качестве спасенной Дарси, как та турчанка, и подвергнуться после этого оскорбительным расспросам или выслушивать выражения соболезнования – нет, об этом нечего было и думать. Но три длинные мили до Парижа!.. Покуда она колебалась, не зная, на что решиться, и бормотала неловко банальные фразы о беспокойстве, которое она причинит, Дарси будто прочел ее мысли и сказал холодно:

– Возьмите мой экипаж, сударыня. Я останусь при вашей карете и подожду, пока меня подвезут до Парижа.

Жюли из боязни показаться чрезмерно щепетильной поспешила принять не второе, а первое предложение. И так как решение ее было слишком внезапным, то не осталось времени обсудить важный вопрос, куда же они поедут: в П. или в Париж. Она уже сидела в карете Дарси, закутанная в его плащ, который он сейчас же ей предложил, и лошади легкой рысцой неслись

к Парижу, прежде чем ей пришло в голову сказать, куда она хочет ехать. Решил за нее ее слуга, давший кучеру городской адрес своей госпожи.

В начале разговора оба стеснялись. Дарси говорил отрывисто, словно он был немного раздражен. Жюли вообразила, что его обидело ее колебание и что он принимает ее за смешную недотрогу. Она уже до такой степени была под властью этого человека, что внутренне себя упрекала и думала только о том, как бы рассеять его, видимо, дурное настроение, в котором она винила себя. Платье Дарси вымокло; она заметила это, сейчас же сняла плащ и потребовала, чтобы он им накрылся. Возникла борьба великодушия, в результате чего вопрос был решен так, чтобы на каждого пришлось по половине плаща. Это было ужасно неблагоприятно, и она никогда бы на это не пошла, не будь минуты колебания, о которой ей теперь хотелось забыть.

Они были так близко один от другого, что щека Жюли могла чувствовать жаркое дыхание Дарси. Толчки экипажа порою сближали их еще больше.

– Этот плащ, которым мы оба накрываемся, – сказал Дарси, – напоминает мне наши давнишние шарады. Помните, как вы изображали мою Виргинию и мы оба закутались в пелерину вашей бабушки?

– Да. А еще я помню нагоняй, который я от нее за это получила.

– Счастливого было время! – воскликнул Дарси. – Сколько раз я с грустью и блаженством думал о божественных вечерах на улице Бельшас! Помните, какие великолепные крылья коршуна привязали вам к плечам розовыми ленточками и клюв из золотой бумаги, который я для вас так искусно смастерил?

– Да, – ответила Жюли, – вы были Прометеем, а я – коршуном. Но какая хорошая у вас память! Как вы не забыли всего этого вздора? Ведь мы так давно не видались!

– Вы хотите, чтобы я сказал вам комплимент? – спросил Дарси, улыбаясь, и нагнулся, чтобы посмотреть ей в лицо. Потом продолжал более серьезным тоном: – По правде сказать, нет ничего необыкновенного в том, что я сохранил в памяти счастливейшие часы моей жизни.

– У вас был талант к шарадам! – прервала его Жюли, боясь, что разговор примет слишком чувствительный характер.

– Хотите, я дам вам еще одно доказательство, что память у меня неплохая? Помните о союзе, который мы с вами заключили у госпожи Ламбер? Мы обещали друг другу злословить обо всех на свете и поддерживать один другого против всех и вся... Но договор наш разделил общую судьбу всех договоров: он остался невыполненным.

– Как знать!

– Увы, не думаю, чтобы вам часто представлялся случай защищать меня. Раз я уехал из Парижа, какой праздный человек мог мною заниматься?..

– Защищать вас – нет... Но говорить о вас с вашими друзьями...

– О, мои друзья! – воскликнул Дарси с печальной усмешкой. – У меня их почти что не было, по крайней мере в ту пору, когда мы были с вами знакомы. Молодые люди, посещавшие вашу матушку, меня почему-то ненавидели, что же касается женщин, то они не много думали о каком-то атташе министерства иностранных дел.

– Потому что вы не обращали на них внимания.

– Это верно. Я никогда не умел любезничать с особами, которых не любил.

Если бы в темноте можно было различить черты Жюли, Дарси увидел бы, как краска разлилась по ее лицу при последней его фразе, которой она придала смысл, о каком Дарси, быть может, и не помышлял.

Как бы там ни было, оставляя в стороне воспоминания, слишком живые у обоих, Жюли хотела навести его на разговор о путешествиях, надеясь, что таким образом ей не нужно будет говорить. Прием этот почти всегда удается с путешественниками, особенно с теми, что побывали в дальних странах.

– Какое прекрасное путешествие вы совершили! – проговорила она. – Как я жалею, что мне никогда не удастся совершить такое путешествие!

Но сейчас Дарси не очень хотелось рассказывать.

– Кто этот молодой человек с усами, который разговаривал с вами перед самым вашим отъездом? – неожиданно спросил он.

На этот раз Жюли покраснела еще сильнее.

– Друг моего мужа, его сослуживец по полку, – ответила она. – Говорят, – продолжала она, не желая отказываться от восточной темы, – говорят, что люди, раз видевшие лазурный небосвод Востока, не могут жить в других местах.

– Он мне ужасно не понравился, не знаю почему... Я говорю о друге вашего мужа, а не о лазурном небосводе. Что касается этого лазурного неба, сударыня, – да сохранит вас бог от него! Оно всегда одинаково и в конце концов так вам надоедает, что вы готовы восхищаться грязным парижским туманом как прекраснейшим зрелищем на свете. Поверьте, ничто так не раздражает нервы, как это лазурное, безоблачное небо, которое было синим вчера и завтра тоже будет синим. Если бы вы знали, с каким нетерпением, с каким каждый раз повторяющимся разочарованием ждут облачка, надеются на него!

– А между тем вы довольно долго оставались под этим лазурным небом.

– Но мне было трудно поступить иначе. Если бы я мог следовать только своим склонностям, я бы очень скоро очутился по соседству с улицей Бельшас, удовлетворив легкое любопытство, которое, весьма естественно, возбуждают странные особенности Востока.

– Наверно, многие путешественники рассуждали бы так же, если бы они были так же откровенны, как вы... А как проводят время в Константинополе и других восточных городах?

– Там, как и везде, существуют различные способы убивать время. Англичане пьют, французы играют, немцы курят, а некоторые остроумные люди, чтобы разнообразить свои удовольствия, делают себя мишенью для ружейных выстрелов, забираясь на крыши, чтобы смотреть в бинокль на местных женщин.

– Вероятно, последнее развлечение предпочитали и вы?

– Нисколько. Я изучал турецкий и греческий языки, что вызывало всеобщие насмешки. Покончив с посольскими депешами, я рисовал, скакал в Долину пресной воды, а затем отправлялся на берег моря и смотрел, не приедет ли какая-нибудь живая душа из Франции или откуда-нибудь еще.

– Должно быть, вам доставляло большое удовольствие встречаться с французами на таком большом расстоянии от Франции?

– Да. Но наряду с немногими интеллигентными людьми сколько к нам приезжало торговцев скобяным товаром и кашемиром или, еще хуже, молодых поэтов! Завидев издали кого-нибудь из посольства, они уже кричали: «Сведите меня к развалинам, к Святой Софии, в горы, к лазурному морю! Покажите мне места, где вздыхала Геро!» Затем, получив хороший солнечный удар, они запирались в своей комнате и не хотели уже ничего видеть, кроме последних номеров «*Конститусьонеля*».

– Вы по старой вашей привычке все видите в дурном свете. Знаете, вы неисправимы, все такой же насмешник!

– Но разве не позволительно осужденному грешнику, которого поджаривают на сковороде, развлечь себя немного за счет своих товарищей по несчастью? Честное слово, вы не представляете себе, какую жалкую жизнь мы там влачим. Секретари посольства похожи на ласточек, которые никогда не садятся... Для нас не существует близких отношений, составляющих счастье жизни... как мне кажется (последние слова он произнес как-то странно и подвинулся к Жюли). В течение шести лет я не встретил ни одного человека, с кем мог бы поделиться своими мыслями.

– Значит, друзей у вас там не было?

– Я только что сказал вам, что их невозможно иметь в чужой стране. Во Франции я оставил двоих. Один из них умер, другой теперь в Америке и вернется оттуда только через несколько лет, если его не задержит желтая лихорадка.

– Так что вы одиноки?

– Одинок.

– А каково на Востоке... женское общество? Оно не могло хоть немного облегчить ваше положение?

– О, женщины там хуже всего остального! О турчанках нечего и думать; что же касается гречанок или армянок, то самое большее, что можно сказать в их похвалу, – это то, что они очень красивы. Избавьте меня от описания консульских и посольских жен. Это вопрос дипломатический, и, скажи я то, что думаю, это могло бы мне повредить в министерстве иностранных дел.

– Вы, по-видимому, не очень любите вашу службу. А когда-то вы так страстно хотели стать дипломатом!

– Я тогда еще не знал этого дела. Теперь я хотел бы быть в Париже инспектором парижской грязи.

– Господи, как можно так говорить? Париж – самое несносное место в мире!

– Не кощунствуйте. Хотел бы я послушать, как вы стали бы проклинать Неаполь, пробыв два года в Италии!

– Видеть Неаполь – заветная мечта моей жизни, – ответила она со вздохом, – только чтобы мои друзья были вместе со мною.

– Ах, при этом условии и я бы пустился в кругосветное плавание! Путешествовать с друзьями! Это все равно что оставаться у себя в гостиной, между тем как все страны проплывают мимо ваших окон, словно движущаяся панорама.

– Ну, хорошо, если это требование чрезмерно, я хотела бы путешествовать всего с одним... с двумя друзьями.

– Я не так требователен. Мне довольно было бы одного или одной, – прибавил он со вздохом. – Но такого счастья мне не выпало на долю... По правде сказать, мне всегда не везло. Всю свою жизнь я горячо желал только двух вещей и ни одной из них не мог достигнуть.

– Каких же?

– Да самых обыкновенных! Например, я страстно желал кое с кем танцевать вальс. Я тщательно изучал этот танец. Месяцами упражнялся один со стулом, чтобы преодолеть головокружение, которое неминуемо наступало. Когда же наконец я добился того, что голова у меня перестала кружиться...

– А с кем вы хотели танцевать?

– Ну, а если я вам скажу, что с вами?.. Когда же я ценой усилий сделался образцовым танцором, ваша бабушка переменяла духовника, взяла старого янсениста и запретила вальс... У меня до сих пор еще это лежит на сердце.

– А второе ваше желание? – спросила Жюли в сильном волнении.

– Признаюсь вам и во втором моем желании. Я хотел (это было очень тщеславно с моей стороны), хотел, чтобы меня любили... Но как любили!.. Желание это было еще более сильным, и оно предшествовало желанию вальсировать с вами – я рассказываю не в хронологическом порядке... Я бы хотел, повторяю, чтобы меня любила такая женщина, которая предпочла бы меня балу – самому опасному из соперников; такая женщина, к которой я мог бы прийти в сапогах, забрызганных грязью, в ту минуту, когда она собирается сесть в карету и ехать на бал. Она в бальном платье и говорит мне: «Останемся дома». Но это, конечно, бред! Не следует требовать невозможного.

– Какой вы злой! Всегда иронические изречения! Вы ко всем беспощадны и всегда говорите дурно о женщинах.

– Я? Боже упаси! Я скорее издеваюсь над самим собою. Разве это значит дурно говорить о женщинах, когда утверждаешь, что приятный вечер в обществе они предпочтут свиданию со мной наедине?

– Бал!.. Платье!.. Боже! Кто теперь увлекается балами?..

Она не думала защищать весь свой пол; ей казалось, что она отвечает на мысли Дарси, но бедняжка отвечала только собственному своему сердцу.

– Кстати, о балах и туалетах. Жалко, что теперь не карнавал: я привез с собой греческий женский костюм, очаровательный! Он бы чудно к вам подошел.

– Вы сделаете мне с него набросок в альбом.

– Охотно. Вы увидите, какие успехи я сделал с той поры, как рисовал человечков за чайным столом вашей матушки. Кстати, вас нужно поздравить. Сегодня утром в министерстве мне сказали, что господина де Шаверни скоро сделают камер-юнкером. Мне было приятно это слышать.

Жюли невольно вздрогнула.

Дарси, ничего не замечая, продолжал:

– Позвольте мне сразу же попросить вашего покровительства. Но в глубине души я не очень рад новому званию вашего мужа. Боюсь, что на лето вам придется переезжать в Сен-Клу, и тогда я реже буду иметь честь вас видеть.

– Ни за что я не поеду в Сен-Клу! – сказала Жюли взволнованно.

– Тем лучше. Ведь Париж – это рай. Покидать его можно лишь для того, чтобы изредка выезжать за город на обеды к госпоже Ламбер, и то с условием в тот же вечер вернуться домой. Как вы счастливы, что живете в Париже! Вы не можете себе представить, как счастлив я, приехавший сюда, быть может, очень ненадолго, в скромном помещении, которое предоставила мне тетушка. А вы, как мне сообщили, живете в предместье Сент-Оноре. Мне показали ваш особняк. У вас, должно быть, очаровательный сад, если строительная лихорадка еще не превратила ваши аллеи в торговые помещения.

– Нет, слава богу, моего сада еще не трогали.

– По каким дням вы принимаете?

– Я почти всегда по вечерам дома. Я буду очень рада, если вы меня будете иногда навещать.

– Видите, я веду себя так, как будто старый наш союз еще в силе. Я сам к вам навязываюсь без церемоний и официальных визитов. Вы простите меня, не так ли? В Париже я только и знаю, что вас да госпожу Ламбер. Все меня забыли, но в моем изгнании я с сожалением вспоминал только о ваших двух домах. Особенно ваш салон должен быть очаровательным. Вы так хорошо выбираете друзей!.. Помните, вы строили планы на будущее, когда сделаетесь хозяйкой дома? Скучным людям доступ в ваш салон был бы закрыт, иногда музыка, всегда приятная беседа, продолжающаяся до позднего часа, маленький кружок лиц, которые отлично знают друг друга и потому не хотят ни лгать, ни рисоваться... Кроме того, две-три остроумные женщины (а ваши подруги, конечно, остроумны) – таков ваш дом, один из самых приятных в Париже. Да, вы счастливейшая женщина в Париже и делаете счастливыми всех, кто к вам приближается.

Пока Дарси это говорил, Жюли думала, что у нее могло бы быть это счастье, которое он так живо описывал, будь она замужем за другим человеком... скажем, за Дарси. Вместо воображаемого салона, такого элегантного и приятного, ей представились скучные люди, которых навел к ней в дом Шаверни, вместо веселых разговоров – супружеские сцены вроде той, что заставила ее поехать в П. Словом, она считала себя навеки несчастной, связанной на всю жизнь с человеком, которого она ненавидела и презирала. А тот, кто казался ей лучше всех, кому она охотно доверила бы свое счастье и свою жизнь, навсегда останется для нее чужим. Ее долг –

избегать его, отдаляться от него... А он был так близко от нее, что рукав ее платья касался отворота его фрака!

Дарси некоторое время продолжал описывать удовольствия парижской жизни с красноречием человека, который был долгое время лишен их. Меж тем Жюли чувствовала, как по ее щекам текут слезы. Она боялась, как бы Дарси этого не заметил, и от усилий, которые она делала, чтобы сдержать себя, волнение ее еще усиливалось. Она задыхалась, не смела пошевелиться. Наконец она всхлипнула, и все было потеряно. Она уронила голову на руки, задыхаясь от слез и стыда.

Дарси, никак этого не ожидавший, был крайне удивлен. На минуту он онемел от неожиданности, но рыдания усиливались, и он счел своим долгом заговорить и спросить о причине столь внезапных слез.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.